

Д. Л. Спивак

12+



Метафизика Петербурга

Французская цивилизация

Дмитрий Спивак

**Метафизика Петербурга:
Французская цивилизация**

«ЛитРес: Самиздат»

2003

Спивак Д. Л.

Метафизика Петербурга: Французская цивилизация /
Д. Л. Спивак — «ЛитРес: Самиздат», 2003

Книга посвящена участию носителей «французской цивилизации» в формировании «петербургского мифа» и его воплощении в произведениях архитектурного и монументального искусства, литературы и балета, общественной и философской мысли. Исторический фон составляют перипетии непростых отношений между двумя нациями, от парижского визита Петра I - до посещения Ленинграда президентом де Голлем, и от «наполеоновских войн» - до военно-политического союза в рамках Антанты. Особое место уделено истории наших эзотерических связей, от тамплиерства и мартинизма екатерининской эпохи - до «политического масонства» в преддверии Февральской революции. Книга основана на обширном фактическом материале, накопленном трудами как отечественных, так и французских исследователей, написана интересно и предназначена для широкого круга читателей.

© Спивак Д. Л., 2003
© ЛитРес: Самиздат, 2003

Содержание

Введение	5
Глава I. От Людовика I – до Людовика XIV	16
Французы в Повести временных лет	17
Ранние русско-французские контакты	18
Франция и Русь: исторические параллели	20
Франция и Русь: метафизические параллели	21
Франко-норманны и варяго-россы	23
Крестоносцы на Босфоре и на Ижоре	27
Тамплиеры в Париже и в Петербурге	30
Городская цивилизация от Парижа до Новгорода	34
Стригольники и альбигойцы	37
Гугеноты и старообрядцы	40
Род Делагарди: из Лангедока в Ингерманландию	44
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета	48
Два европейских колосса	50
"Кольбертизм" Петра I	52
«Восточная политика» Франции	53
Франция и "великое посольство" Петра I	54
Французский визит Петра I	56
Русско-французские отношения в анненское и елизаветинское время	58
Вольтеровский миф о Петре Великом	60
«Завещание Петра Великого»	62
Русско-французские отношения в екатерининскую эпоху	64
Французские мэтры в Петербурге XVIII века	67
Французский балет в Петербурге XVIII века	71
Смольный – «русский Сен-Сир»	73
«Французская слобода» в Петербурге	75
Архитектурный текст Петербурга: «эпоха Леблона»	79
Архитектурный текст Петербурга: эпоха Растрелли	83
Архитектурный текст Петербурга: «екатерининский классицизм»	86
«Медный всадник»	89
Французское просвещение в Петербурге первой половины XVIII века	92
Французский акцент в «петербургском тексте»: Ломоносов	98
Сумароков	100
Тредиаковский	102
Отступление о Феофане Прокоповиче	106
Державин	107
«Екоссские градусы»	112
Мартинес Паскалис и Сен-Мартен	115
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Введение



Петербург был основан как своего рода огромный портал, при посредстве которого Россия могла бы знакомиться с ценностями и новинками европейской, в основе своей романо-германской цивилизации, а та в свою очередь получала доступ к обширному евразийскому рынку. Как следствие, немаловажная, а нередко и ключевая роль в развитии культуры «северной столицы», равно как и «петербургского периода» отечественной истории в целом, на протяжении последних трех столетий принадлежала культурным влияниям со стороны как «немецкого мира», так и «французской цивилизации»¹.

¹ Противопоставление культуры и цивилизации, существенно важное для немецкой традиции, было практически снято в рамках французской философии культуры (подробнее см.: Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996, с.28-31). Это различие легко проследить и в других сферах, вплоть до педагогической. К примеру, один из наиболее известных учебников французского языка и литературы для иностранцев, созданных во Франции XX века, носит название «Курс французского языка и французской цивилизации» (G.Mauger. "Cours de langue et de civilisation françaises"), что как для немецкого, так и

Вот почему, уделив уже достаточное внимание рассмотрению лейтмотивов русско-немецких культурных связей «петербургского периода», мы полагаем оправданным и необходимым посвятить особую монографию закономерностям российско-французского культурного взаимодействия. Поспешим сразу же оговориться, что настоящая книга является вполне самостоятельной во всех смыслах; чтение ее не предполагает знакомства с предшествующими публикациями автора².

Переходя к новой теме, мы вступаем в круг совершенно иных закономерностей организации «диалога культур». «Немецкий мир» испокон веков начинался поблизости, почти по соседству: ливонская граница была стародавней еще для «мужей новгородцев». Напротив, французы жили где-то на западном краю Европы, до которого надобно было, как говорится, скакать три года. Отсюда возникшее в коллективном сознании россиян почти шоковое состояние, когда французский император со своей «великой армией» вдруг объявился почти ниоткуда на западных рубежах нашей страны в 1812 году.

Сразу же после основания Петербурга в нем появилось достаточно многочисленное и сплоченное немецкое население, которое с течением времени лишь укрепляло свои позиции. Особы царствующего дома взяли себе за правило выбирать жен из числа юных принцесс германских княжеств. Немецкие карьеристы обсели доходные места Петербурга, с неизменным успехом оттесняя от них природных русских. Заведя разговор о мещанах русского происхождения, наш выдающийся критик XIX века вынужден был признать: «Петербургский немец более их туземец петербургский»³. С течением времени в окрестностях нашего города появились даже немецкие сельскохозяйственные колонии⁴. В итоге на приневских землях была в миниатюре воспроизведена стратификация немецкого общества в целом.

В противоположность этому, у нас всегда было очень немного выходцев из Франции или таких стран, как Бельгия, Люксембург, Швейцария, большая или меньшая часть жителей которых говорили по-французски. В значительной части то были посланцы французской «империи мод», развлечений и удовольствий, которая в свое время диктовала привычки и вкусы членам «приличного общества» едва ли не всей Европы. Любой образованный дворянин «золотого века» российской культуры был практически двуязычен – так что французы имели все основания дать одной из широко задуманных выставок, посвященных трехсотлетию Петербурга, эффектное название «Париж-Санкт-Петербург (1800-1830): Когда Россия говорила по-французски» (“Paris-Saint-Petersbourg (1800-1830), quand la Russie parlait français”)⁵.

Императрица Екатерина II, поднявшая государство российское к вершинам могущества, была немкой по крови, родному языку и воспитанию. Но изображение основателя города, которого у нас еще при жизни стали почитать почти что как полубога, она заказала французскому скульптору, который к тому времени уже снискал известность на своей родине.

для русского уха звучит пока непривычно. Впрочем, напомним, что классик отечественной историософии почти полтора века назад определял цивилизацию как «...раскрытие начал, лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурно-исторический тип, под влиянием своеобразных внешних условий», то есть культуре ее отнюдь не противопоставлял (см. разъяснение четвертого «закона исторического развития» народов в главе V фундаментального труда Н.Я.Данилевского «Россия и Европа»).

² См.: Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга: Немецкий дух. СПб, 2003. Еще одна монография этой серии, выпущенная в свет также издательством «Алетейя» под названием “Метафизика Петербурга: Начала и основания», была посвящена субстратным для петербургской культуры контактам со скандинавами (в первую очередь, шведами) и народами прибалтийско-финского корня, испокон веков обосновавшимися на приневских землях, а также тысячелетней истории распространения на них «греческой веры» (с имплицитным сопоставлением «Константинополь-Петрополь»).

³ Белинский В.Г. Петербург и Москва // Физиология Петербурга. М., 1991, с.31 (сборник был выпущен из печати в 1845 году, в Петербурге).

⁴ Мы говорим о таких поселениях, как Новосаратовка или Гражданка, названия которых сохранились на картах Санкт-Петербурга по сей день.

⁵ Презентация этой выставки, торжественно открытой Париже в мае 2003 года, была проведена еще в начале февраля, при участии президентов России и Франции (см.: Гусейнов Э. Владимир Путин и Жак Ширак нашли общий язык почти по всем вопросам // Известия, 2003, 12 февраля, с.2).

Приехав на берега Невы, Этьен-Морис Фальконе испытал прилив чистого вдохновения и создал монумент, поразивший умы современников и потомства. Поставленная на одной из главных площадей Петербурга – «императорском форуме», как стали недавно писать – статуя «Медного всадника» на диком «Гром-камне» придала мощный импульс воображению русских писателей и визионеров, создавших свой «миф Петербурга» и сама стала его зримым воплощением.

Кстати сказать, к 300-летию со дня основания Петербурга Представительство Европейской комиссии в России открыло в нашем городе так называемый «Европейский маршрут». Замысел его состоял в том, чтобы представитель каждой из стран, входящих в Европейский Союз, действуя при участии Администрации Петербурга, выбрал в городе один памятник, здание или какое-либо историческое место из числа тех, что с наибольшей полнотой воплотили в себе как дух этой нации, так и ее вклад в культуру «невской столицы». Так и составил план «Европейского маршрута» в Санкт-Петербурге⁶.

Автору довелось провести одну из первых экскурсий по этому, новому для нас маршруту для участников VI Международного философско-культурологического конгресса, который был проведен в нашем городе под эгидой ЮНЕСКО осенью юбилейного 2003 года. Помнится, представители разных европейских народов с живым интересом отнеслись к тому, что будет их представлять на «Европейском маршруте».

Исторические справки, равно как критические замечания звучали почти непрерывно. Но когда наш автобус повернул с набережной к «Медному всаднику» – а именно его Франция выбрала в качестве своего представителя на «Европейском маршруте» – голоса на мгновение утихли, а дискуссии прекратились. Действительно, трудно представить себе пример более полного единения двух культурных традиций, который имел бы сравнимое продолжение и в символическом пространстве!⁷

Завершая вводное сопоставление вклада французов и немцев в культуру нашего города – а оно представляется нам не менее плодотворным, чем привычное для отечественной традиции «прение Москвы с Питером» – нужно заметить, что «петербургская империя» вступила в смертельную схватку с германским милитаризмом в союзе с державами Антанты и истощила в этой войне свои силы. Верность этой «*entente cordiale*»⁸ и душевное сострадание к тяготам, которые переносил народ союзной Франции, в свою очередь привели к исторической катастрофе и Временное правительство.

Что же касалось большевиков, то, строя свой «миф Петрограда-Ленинграда», они сознательно обращались к историософии, выработанной в рамках марксистско-ленинского учения и ставили свою революцию 1917 года в один ряд с Великой Французской революцией, а также Парижской Коммуной. В теоретическом плане, учение «победившего пролетариата» опиралось как на немецкую философию, так и французский «утопический социализм». Впрочем, тут нужно заметить, что «философская интоксикация» идеями, принадлежавшими французскому Просвещению, или восходившими к нему, традиционно снабжала петербургских вольнодумцев темами размышлений и программ переустройства российского общества едва ли не со времен «матушки Екатерины»...

Одним словом, к какому периоду в историческом развитии города на Неве мы бы ни обратились, творчество какого деятеля отечественной науки, искусства, литературы, политики ни затронули – везде нам приходится констатировать, что воздействие «французской цивили-

⁶ См.: Европейский маршрут / European Walkway. Санкт-Петербург / Saint Petersburg. М., 2003.

⁷ В этом контексте можно сослаться и на концепцию особого, «французского маршрута» в нашем городе, концепция которого была также выработана в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО: Санкт-Петербург на перекрестке культур. Французский маршрут. Путеводитель с картами. СПб, 2003 (подробнее о нем см.: Протанская Е.С. Проект петербургских ученых к 300-летию города // История Петербурга, 2003, №4, с.79-83).

⁸ «Сердечному согласию» (франц.).

зации» было исключительно сильным, сравнимым по глубине и охвату разве что с немецким культурным влиянием.

Отрадно сознавать, что видные представители «французской цивилизации» склонны рассматривать и современный Санкт-Петербург как форпост своего влияния на востоке Европы. «Франция непременно должна участвовать в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга – *крупнейшего центра французской культуры за пределами национальной территории Франции*», – подчеркнул Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России К.Бланшмезон⁹. «Город, основанный Петром Великим, стал через три столетия *свидетелем и гарантом привилегированных связей, установленных между двумя нациями*», – вторит ему одна из крупнейших французских специалистов по русским делам, Постоянный секретарь Французской Академии Э.Каррер-д'Анкокс¹⁰.

Упомянув о влияниях и контактах, следует сразу же оговориться, что петербургская культура всегда была достаточно сильна для того чтобы, заимствуя отдельные приемы и целые стили, идеи и направления мысли, перерабатывать их, иной раз до полной неузнаваемости – и включать в собственные контексты. Вот почему, взявшись проследить обстоятельства и пути, которыми к нам приходили французские инновации и влияния, мы будем начинать от конкретных заимствований из сокровищницы «французской цивилизации» – заканчивать же, как правило, неоспоримо оригинальными феноменами, составляющими неотъемлемую принадлежность собственно петербургской культуры.

В числе предметных областей – или же «кодов и текстов», как стали в последнее время говорить под влиянием идей «московско-тартуской семиотической школы» – мы выделяем прежде всего геополитический и историософский, при посредстве которых государство и общество, о которых пойдет речь, позиционировали себя на пространстве историко-географического «большого пространства и времени»¹¹. «Поменяв экспозицию» – а именно, перейдя к кратко- и среднесрочным задачам и целям, которыми в первую очередь занимаются дипломатия и административный аппарат любого государства – мы приходим к перипетиям «реальной политики» с ее войнами и революциями, недолговечными договорами и вековыми предубеждениями.

Еще более сузив наш кругозор, мы обращаемся далее к тому, как события эпохи отразились в общественной жизни конкретного города – в нашем случае, разумеется, Санкт-Петербурга. Впрочем, нам доведется периодически обращаться и к парижским событиям – в особенности в тех случаях, когда история напрямую соединила их с духовным развитием «петербургской империи», как это было в пору триумфального вступления российских войск в столицу Франции весной 1814 года. От того времени пошел отсчет «внутренней истории» движения декабристов, а с ним и позднейших этапов «освободительного движения в России». В контексте организации городской жизни естественным будет обратиться и к историческим судьбам и занятиям членов «французской колонии на берегах Невы» – одним словом, к этно-психологической и этнокультурной проблематике¹².

⁹ Бланшмезон К. [Вступительное слово] // Французы в Петербурге. Каталог выставки. СПб, 2003, с.6 (курсив наш).

¹⁰ Carrère d'Encausse H. Le rendez-vous franco-russe // Le Figaro hors-série. 1703-2003. Saint-Petersbourg. La féerie du tricentenaire, 2003, p.65 (курсив наш).

¹¹ Мы, разумеется, помним о том, что геополитика в собственном смысле этого слова восходит не далее чем к концу XIX – первой половине XX века – а именно, работам таких авторов, как Фридрих Ратцель и Рудольф Челлен. Несмотря на это, в трудах классиков западноевропейской политической мысли, писавших и много ранее указанного времени, мы обнаруживаем концепции и модели, вполне совмещающиеся с идеями и методами позднейшей геополитики.

¹² При раскрытии этой предметной области мы следуем принципам научной школы, сформировавшейся в «этнографии Петербурга-Ленинграда» под определяющим влиянием работ Н.В.Юхневой (ср. материалы подготовленной к трехсотлетию юбилею города коллективной монографии: Многонациональный Петербург. История. Религии. Народы. СПб, 2002, в особенности с.142-162).

К слову, заметим, что, уделяя основное внимание историко-психологическим закономерностям развития «петербургской цивилизации», сменившей во времени и пространстве одно московское «затворенное царство» и предшествовавшей другому, мы будем систематически суживать горизонт, обращаясь к «трудам и дням» жителей собственно Петербурга, служившего, образно говоря, «мозговым центром», лабораторией и витриной инноваций своего времени. Надеемся, что читателю ясна как принципиальная разница, существующая между двумя этими сферами, так и объединяющая их глубокая связь.

Переходя к области изящных искусств, мы обращаемся вслед за тем к облику города, который во все времена оказывал самое непосредственное и глубокое воздействие на психологию своих обитателей – в первую очередь, к его архитектуре. При необходимости, нам придется дополнять это рассмотрение, обращаясь к закономерностям организации градостроительной структуры, которая составляет смежный, но более высокий уровень «города как системы» – либо спускаться на уровень ниже, переходя к так называемому «монументальному тексту» (в первую очередь, памятникам).

К числу областей особенно плодотворных культурных контактов относилось искусство танца. Будучи вполне несловесным, оно всегда очень много говорило сердцам и умам петербуржцев. Вот почему и мы не сможем обойти молчанием деятельность череды танцовщиков и балетмейстеров, покинувших Францию затем, чтобы блистать на берегах Невы, от Жана-Батиста Ланде – до Мариуса Петипа. Придется хотя бы коротко рассказать и о начавшемся около ста лет назад мощном встречном движении, связанном с именами Дягилева и Бенуа.

Культура послепетровской России была, как мы знаем, последовательно логоцентрична. Одной из важнейших задач русской классической литературы на всем протяжении ее существования стало раскрытие темы Петербурга во всей ее сложности и полноте. Как следствие, в ее рамках сложился своеобразный «петербургский текст», одно вычленение которого стало событием в новейшем отечественном литературоведении¹³. В силу этих причин, мы уделим самое пристальное внимание петербургской литературной традиции.

Таков общий план, которого мы предполагаем достаточно строго придерживаться на протяжении всего дальнейшего изложения. Каждая глава у нас соответствует определенному крупному периоду в истории русско-французских культурных связей. Соответственно, в каждой главе мы сперва обратимся к доминантам геополитического мышления данного периода и расскажем о них все, что нам представляется существенным, от начала избранного временного периода – до его конца.

Вслед за тем мы обратимся к реальной политике и попытаемся проследить за последовательностью событий, определивших ее ход, опять-таки с начала периода – до его завершения. Потом перейдем к следующей области «кодов и текстов» – и так далее, следуя нашему общему плану, вплоть до балета и изящной словесности. Как следствие, временной период, которому посвящена каждая глава, будет проходиться последовательно столько раз, сколько у нас выделено предметных областей. Надеемся, что, приняв во внимание этот принцип, читатель сможет легко ориентироваться в тексте книги.

Выбор предметных областей, на которых нам предстоит сосредоточить свое внимание, определялся не столько интенсивностью русско-французского культурного взаимодействия, сколько теми направлениями, на которых России довелось достигнуть самых своих впечатляющих успехов.

Шла ли речь об упорядочении «форм жизни» на евразийском пространстве или о равноправном участии в политической жизни Европы, о выработке психологического типа чинов-

¹³ См.: Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика города и городской культуры. Петербург / Труды по знаковым системам. XVIII. / Ученые записки Тартуского университета. Вып.664. Тарту, 1984, с.4-29; ср.: Nivat G. Pétersbourg: forme de ville, forme de texte // Magazine littéraire, 2003, mai, p.22-30.

ника или о временном снятии болезненных для страны этнорелигиозных конфликтов – во всех этих областях идеологам «петербургской империи» довелось найти убедительные решения и эффективные способы их проведения в жизнь.

Что же касалось искусств и словесности, то они вошли в пору подлинного расцвета под романовским скипетром. Достаточно перечислить имена Достоевского и Толстого, Чайковского и Стравинского, чтобы понять, что дала миру российская культура. Тем более поучительно будет восстановить в памяти, как многим были обязаны «французской цивилизации» ведущие деятели этого культурного подъема, сравнимого, по верному слову Аполлона Григорьева, разве что с перикловыми Афинами или же с итальянским Ренессансом.

Предметные области, очерченные выше, а также избранный метод их рассмотрения в своей совокупности определяют то, что на строгом научном языке следовало бы назвать семиотикой Петербурга. Едва сформулировав это определение, нам приходится сразу его ограничить. В каждой предметной области мы избираем лишь ту часть, в структуре которой проследживается непосредственная связь с так называемым «мифом Петербурга». В свою очередь, под этим мифом мы понимаем психологическую доминанту, сводящуюся к тому, что глубокое приобщение к некоторым аспектам петербургской культуры позволяет установить контакт с «метафизической областью».

Под метафизикой в традиционной университетской философии понималось учение о Боге (теология), о бытии (онтология), а также душе и конечных ценностях человеческого существования – таких, как смысл жизни или свобода воли (пневматология)¹⁴. К началу XX века традиция метафизической мысли почти угасла. Восприняв ее ключевые идеи, классик психологической науки Уильям Джеймс пересмотрел и заново определил их, придав им, таким образом, новую жизнь.

Отказавшись судить о наличии или отсутствии «метафизической области» в структуре мира за полной непостижимостью этой проблемы для человеческого разума, Джеймс обратил внимание на то, что существует определенный тип людей, которые поколение за поколением стремятся установить контакт с этой областью так, как если бы она существовала на самом деле и черпают в том обильные творческие инсайты.

Как следствие, он предложил выделить в психике человека «метафизическую область», в задачу которой входит «порождение смыслов» – в особенности, ценностей и архетипов, играющих ключевую роль в жизни человека¹⁵. Приняв эту инновацию, конструктивность которой осталась по сей день не вполне оцененной в рамках как исторической, так и религиозной психологии, возможным становится определить предмет нашего интереса как метафизическую семиотику Петербурга – или, для краткости, его метафизику.

Придя к этому общему, родовому определению, нужно признать, что оно влечет за собой необходимость выработки ряда более частных, видовых. К примеру, неясное представление о метафизике города коренится в коллективном подсознании его жителей, находя себе выражение в преданиях и слухах¹⁶. Историки Петербурга лишь недавно обратились к их систематическому рассмотрению и сразу же стали приходить к весьма конструктивным выводам¹⁷.

¹⁴ См.: Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII века. СПб, 1996, с.169-175, 293-295.

¹⁵ Оговоримся, что Джеймс писал, собственно, о «мистических состояниях сознания» и «значительном состоянии души». Вводя новую терминологию – или, правильнее сказать, возвращаясь на новом уровне понимания к старой – мы опираемся здесь на результаты реконструкции, проведенной нами, преимущественно основываясь на тексте так называемого «Эдинбургского курса», прочитанного Джеймсом в 1901-1902 годах и положенного им в основу своей знаменитой книги «Многообразие религиозного опыта» (подробнее см.: Спивак Д.Л. Многообразие религиозного опыта (к столетию публикации книги У.Джеймса) // Точки / Puncta, 2002, №3-4, с.129-147).

¹⁶ В терминах современной психологии корректнее было бы говорить о выработке не столько «неясных представлений», сколько «первичных образов-организаторов», которые по определению слабо поддаются вербализации (подробнее см.: Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Значение текста как внутренний образ // Вопросы психологии, 1997, №3, с.79-91).

¹⁷ См., например: Агеева О.А. Петербургские слухи (к вопросу о настроениях петербургского общества в эпоху петровских

Значительно более четкое выражение метафизика города находит себе в психологических установках и жизненных стилях тех социальных групп и слоев, которые определяют жизнь города и страны – или по меньшей мере играют в ней видную роль. Как водится, члены этих групп в массе своей имеют весьма слабое представление о собственных психологических доминантах, что не мешает им воплощать таковые в спонтанных или намеренных действиях¹⁸.

Рано или поздно в городе появляются люди, которые черпают вдохновение в его облике и судьбе, осмысливают свои озарения и дают им выражение в формах, присущих культуре своего времени. Накладывая свою собственную, сверхличную логику на течение творческой мысли этих людей, «душа города» наконец обретает свой голос.

«Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность», – писал в 1922 году гений петербургского краеведения Н.П. Анциферов, и мысли его сохранили свою актуальность по сей день¹⁹. Кажется, что участники научного и общественного движения «Дух места», недавно развернувшегося в США, просто продолжили его любимые мысли, заявив: «Есть люди, которые становятся «голосом» определенного места – нередко сами не зная, почему. Однажды выступив в этой роли, они часто испытывают потом настоятельную потребность выражать свои чувства средствами искусства или же действиями»²⁰.

Итак, первостепенным предметом нашего рассмотрения станет спектр проявлений «души города» – от подсознания масс до творческого сознания «культурных героев». Немаловажную тему составляет и выбор тех предпочтительных средств выражения своих мыслей и интуиций, который приходится делать духовным лидерам каждой эпохи: в нем проявляются не столько их личные пристрастия, сколько надличный «дух места»²¹. С особым вниманием приходится относиться к истории религиозно-мистических движений, в силу того факта, что их участники могли развивать в себе способности сообщения с «метафизической областью» психики или бытия.

Подчеркнем, что, начав со строго научного определения метафизики Петербурга, мы поведем далее наш рассказ в довольно свободной форме, рассчитанной на внимание широкой читательской аудитории. Причина того, что мы обращаемся в первую очередь к ней, состоит в убеждении, что не время ученому замыкаться в сфере академических штудий, когда на глазах разрушается привычный образ жизни, людям приходится в массовом порядке изменять свои жизненные стратегии, подвергаются коренному переосмыслению и сценарии будущего развития города.

Впрочем, для внимательного читателя, тем более для ученого, ближе знакомого с материалом, не составит большого труда восстановить внутреннюю логику нашего повествования, руководствуясь как его общим духом, так и расставленными в тексте краткими поясняющими замечаниями.

С такой расстановкой приоритетов связан и принятый нами порядок библиографических ссылок. Литература о русско-французских культурных связях «петербургского периода», созданная на русском, французском и многих других языках мира, стала к настоящему вре-

реформ) // Феномен Петербурга. СПб, 2000, с.299-313.

¹⁸ Подробнее см. сборник материалов научной конференции: Психология Петербурга и петербуржцев за три столетия / Ред. В.И. Старцев, Л.Б. Борисковская, Т.В. Партаненко. СПб, 1999.

¹⁹ Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л., 1990, с.24-25.

²⁰ Swan J. Nature as teacher and healer. NY, 1992, p.200.

²¹ Ср. продолжающие платоническую традицию размышления современных философов о «сопротивлении материала», проявляющемся при переходе от «эйдоса города» к его «логосу» (см.: Морева Л.М. Эйдос и логос города. Припоминание // Метафизика Петербурга. СПб, 1993, с.197-198).

мени практически необозримой²². А ведь есть еще более чем обширные материалы, содержащиеся в исторических архивах. Их публикации, появляющиеся едва ли не каждый месяц, существенно дополняют наши знания о событиях продолжающегося по сей день диалога двух великих наций, иной раз заставляя вносить принципиальные изменения в представления, кажущиеся не подлежащими.

Стремясь по возможности облегчить изложение, мы приняли решение ограничиться в тексте ссылками на книги или статьи обобщающего или обзорного характера, опубликованные или же переизданные у нас в последние десятилетия. Читатель легко обнаружит в их тексте библиографические указания, которые помогут ему продолжить знакомство с соответствующей предметной областью.

Надо признать, что поворот темы, предложенный в серии книг «Метафизика Петербурга», может восприниматься как разновидность постмодернистских интеллектуальных игр. В противоположность этому, весь ход восприятия наших мыслей широкой читательской, слушательской и зрительской аудиторией убеждает в том, что они соответствуют ожиданиям, уже сформировавшимся в массовом сознании и способствуют, как мы надеемся, выработке личных и групповых стратегий, отвечающих вызовам «нового мирового беспорядка»²³.

Мы говорим в первую очередь о многочисленных отзывах, которые вызвал телевизионный сериал «Метафизика Петербурга», созданный силами петербургского филиала Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» по мотивам книг автора этих строк²⁴. Летом и осенью 2003 года фильм был показан по пятому каналу петербургского телевидения и вызвал целый поток живых, заинтересованных откликов телезрителей нашего города и области. Несколько раньше, весной того же года, был проведен премьерный показ сериала на национальных телевизионных каналах стран СНГ. Как выяснилось, и там он прошел с успехом – по всей видимости, в первую очередь в связи с тем интересом, который привлекли к нашему городу торжества, посвященные его трехсотлетию.

Презентация фильма прошла в нашем городе в рамках юбилейных мероприятий 2003 года – а именно, выставки «300 лет Санкт-Петербургу, 300 лет во славу России» и культурной программы VI Международного философско-культурологического конгресса. Кроме того, он был представлен международной общественности в рамках официальной программы Санкт-Петербурга на форуме «Духовные традиции Европы» (“Interfaith Europe”), проведенном летом 2003 года в австрийском городе Грац, по случаю присвоения ему титула «культурной столицы Европы».

Презентация серии книг «Метафизика Петербурга» была параллельно проведена в рамках специально им посвященных заседания «Исторического радиоклуба» на «Радио Петербург», передачи «Глагол» радиостанции «Град Петров», а также передачи «Книжный угол»

²² В качестве вводного чтения можно рекомендовать специальные выпуски журналов, посвященных трехсотлетию Петербурга: Родина, 2003, №1; Звезда, 2003, №5; L'Express International. Numéro spécial. 1703-2003. Saint-Petersbourg. 300 ans de magie, 2002, 19-25 décembre; Le Figaro hors-série. 1703-2003. Saint-Petersbourg. La féerie du tricentenaire, 2003; Magazine littéraire, 2003, mai (раздел “Ecrivains de Saint-Petersbourg”, p.22-61); подборки научных статей, включенные в состав каталогов юбилейных выставок: Французы в Петербурге. СПб, 2003; Русский Париж. 1910-1960. СПб, 2003; издания историко-краеведческого характера: Чеснокова А.Н. Иностранцы и их потомки в Петербурге: Немцы. Французы. Британцы (1703-1917). Историко-краеведческие очерки. СПб, 2003; Fernandez D. Saint-Petersbourg. Paris, 1996; Menegaldo H. Les Russes à Paris. 1919-1930. Paris, 1998; de Montclos B. Civilization de Saint-Petersbourg. Paris, 2001; Saint-Petersbourg. Biographie d'une cité idéale / Ed. Ch.Stépanoff. Paris, 2003; а также материалы периодического научного издания «Россия и Франция. XVIII-XX века», выпускаемого с 1995 года трудами специалистов Центра французских исторических исследований Института всеобщей истории РАН.

²³ “New world disorder” (англ.) – термин, введенный в американской политологии для обозначения начального, драматического этапа рождения постиндустриального общества (см.: Drucker P. Post-capitalist society. NY, 1993, p.113).

²⁴ «Метафизика Петербурга», телевизионный фильм в 16 сериях (автор – А.Р.Хохлов, режиссер – Р.А.Жамгарян). Идея создания сериала была высказана известным отечественным ученым, профессором кафедры политической психологии СПбГУ, профессором кафедры всеобщей истории РГПУ им.А.И.Герцена А.Л.Вассоевичем.

на «Радио Свобода»²⁵. Во всех случаях обсуждение темы проходило на удивление активно и живо, причем слушатели и зрители, как правило, не испытывали трудностей в соотнесении метафизических построений с собственными переживаниями и наблюдениями. Отклики научной общественности были, как положено, более сдержанными и критичными, но целом весьма положительными²⁶.

Именно этот доброжелательное, теплое отношение со стороны как научного сообщества, так и широкой общественности придает нам силы, позволяя надеяться на положительный прием и настоящей книги, продолжающей систематическую разработку проблем метафизики Петербурга. Настоящее издание включает ряд результатов, разработка которых была поддержана Российским Фондом фундаментальных исследований, грант № 03-06-80217.

Книга посвящена матери автора – блокаднице, прима-балерине Мариинского театра Нонне Ястребовой.

Во время работы над заключительной версией текста, скончался ответственный редактор книги, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого РАН, доктор исторических наук А.Д.Дридзо. Глубокий знаток целого ряда языков и культур, он уделял самое пристальное внимание проблемам истории и культуры Санкт-Петербурга²⁷. Будучи бессменным научным редактором серии книг «Метафизика Петербурга», Абрам Давидович оставил и в их тексте отгиск своей неповторимой личности. Потеря этого замечательного человека невосполнима для автора этих строк – как, впрочем, отечественной науки в целом.

Первой главе предпосланы изображения франкского боевого топора – знаменитой «франциски» (“*francisque*”) – и «галльского петуха» (“*coq gaulois*”). Они символизируют духовные традиции двух народов – германского племенного союза франков и местного галло-римского населения – слияние которых положило начало французской нации. Петух был включен в геральдику нового времени на волне энтузиазма Великой Французской революции и стал с тех пор одним из излюбленных символов Французской республики. Что же касается «франциски», то она нашла себе применение в эмблематике «Французского государства», вассального по отношению к «Третьему Рейху».

Вторая глава начинается с изображений золотой лилии (“*fleur de lis d’or*”) и красного «фригийского колпака» (“*bonnet phrygien*”). Со времен седой древности цветок лилии был окружен у французов ореолом святости: в одинокой лилии они почитали богородицу, в тройственной – троичность Божества, а во множестве этих цветков, разбросанных по лазурному полю, видели звездный свод и его Творца. Но важнее всего было соотнесение лилии с «идеей монархии», согласно которой прямые потомки Гуго Капета по мужеской линии, занимавшие французский трон на протяжении более восьми столетий, были естественными предстоятелями нации и помазанниками Божиими.

Считается, что «королевская лилия» была официально включена в герб Франции в царствование Филиппа II, то есть в конце XII века – и с тех пор оставалась в его составе вплоть до

²⁵ Ведущими этих программ являются соответственно профессор А.Л.Вассоевич, радиожурналист Ж.Д.Сизова, а также литературовед и журналист М.Берг.

²⁶ См., например, рецензию А.М.Буровского в журнале «История Петербурга», 2003, №5, с.91-94.

²⁷ См. материалы изданного МАЭ РАН биобиблиографического справочника: Абрам Давидович Дридзо. К 70-летию со дня рождения. СПб, 1996. После периода, охваченного этим изданием, А.Д.Дридзо выпустил в свет целый ряд интересно задуманных и блестяще выполненных исследований. К примеру, см.: Три жизни Нэнси Принс // США, 1997, №10, с.97-101; Ф.А.Фиельструп – исследователь Южной Америки // Первые скандинавские чтения: Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб, 1997, с.189-194 (эта статья была написана в соавторстве с А.М.Решетовым). В первой из упомянутых работ А.Д.Дридзо вывел неожиданную характеристику обстоятельств петербургского наводнения 1824 года и восстания декабристов, исходя из воспоминаний жены одного из царских арапов; во второй – дал очерк личности забытого петербургского ученого, который был участником «эрмитажного кружка» Н.П.Анциферова. Подробнее об этой стороне деятельности ученого должны рассказать материалы, намеченные к публикации в трудах XVII Петербургских чтений, проведенных в декабре 2003 года на базе МАЭ РАН.

революции, уничтожившей все прежние установления, не исключая и геральдических. Покончив с делом разрушения, буйные санкюлоты немедленно приступили к выработке собственных символов, почетное место среди которых занял «фригийский колпак». Употребимый еще в античные времена при церемонии освобождения рабов (так называемой «манумиссии»), он издавна соотносился с «идеей свободы» и был в этом качестве принят восставшим народом. Бюсты прекрасной женщины во «фригийском колпаке» (так называемой «Марианны») по сей день украшают мэрии французских городов.

Третьей главе предшествует изображение золотого орла, потрясающего золотой молнией (“l’aigle d’or empiétant sur un foudre du même”), принятого Наполеоном I в качестве герба Франции в год своей коронации. Родовой герб Бонапарта выглядел, как известно, совсем по-другому (на нем были изображены две пятиконечные звезды, разделенные диагональными полосами). При составлении нового герба в качестве кандидатов на включение рассматривались лев и «галльский петух». Предпочтение было все же отдано изображению одноглавого орла, как наиболее ясно передающему «имперскую идею» и в этом качестве преемственного символика как императоров Древнего Рима, так и Карла Великого. В свою очередь, к этой эмблеме возвратился и император Наполеон III – так что если не самая легкая, то наиболее блестящая часть XIX века прошла у французов под сенью орлиных крыл.

Четвертую главу открывает изображение креста с двойной перекладиной (“croix avec double croisillon”), включенного в геральдику Лотарингии по воле герцога Рене II, то есть к концу XV столетия. Оно поначалу употреблялось в качестве символа лотарингского суверенитета под скипетром герцогов из анжуйской династии и, соответственно, получило название «лотарингского креста» (“croix de Lorraine”). Принятое в геральдику Франции, это изображение стало с течением времени передавать идею первенства «французской цивилизации» в борьбе за пограничные провинции Эльзас с Лотарингией – и, более того, ее твердости в историческом противостоянии германскому натиску. В этом качестве ее и заимствовал генерал Ш. де Голль, распорядившийся начертить изображение кроваво-красного «лотарингского креста» на белом поле традиционного французского триколора. Под этим знаменем французское Сопротивление спасло честь Франции и обеспечило ее возвращение в круг «великих держав» послевоенного мира.

Другая эмблема представляет собою пучок прутьев со вложенным в его середину топориком. Служившее в Древнем Риме знаком власти высших должностных лиц (магистратов), изображение «ликторской фасции» (“faisceau de licteur”) было принято в годы Великой Французской революции для воплощения «идеи порядка», который рано или поздно приходит на смену стихии вольницы – и в этом качестве включено в эмблематику Французской республики. В теперешнем варианте эмблемы, который был официально принят в 1953 году, фасция наложена поверх перекрещенных ветвей дубового и оливкового дерева, символизирующих соответственно достоинство и почет, и перевита золотой лентой с прославленным старым девизом «Свобода – Равенство – Братство».

Заключению предпослано изображение короны из двенадцати золотых звезд (“couronne de douze étoiles d’or”) на лазурном фоне, где круговое расположение передает идею союза, а 12 рассматривается как «число совершенства и полноты» (“perfection et plénitude”). Впервые рекомендованная для официального употребления Советом Европы еще в 1955 году, эта эмблема на протяжении последнего полувека применяется для выражения «европейской идеи». В теперешней Франции принято вывешивать флаг Европейского Союза, содержащий это изображение, рядом с традиционным триколором.

Другая эмблема, а именно пять разноцветных полос²⁸, сцепленных кругом на белом поле, вошла в употребление с 1970 года. Она передает «идею франкофонии», то есть содружества

²⁸ Они окрашены соответственно красным, голубым, желтым, зеленым и сиреневым цветом, если начинать с нижней

независимых наций пяти континентов, объединенных уважением к ценностям «французской цивилизации» и допускающих более или менее широкое использование французского языка в сферах образования, массовой информации, а иногда и государственного управления. В настоящее время «мир франкофонии» объединяет более пятидесяти стран. Две этих идеи – «объединенной Европы» и «франкофонии» – задают магистральные направления включения Франции в контекст европейской и мировой политической и культурной жизни.

В настоящем издании воспроизводится первоначальный текст книги, подготовленный автором к трехсотлетию юбилею Санкт-Петербурга. В несколько измененной авторской редакции, он был выпущен в свет двумя годами позднее петербургским издательством «Алетейя»²⁹.

Иллюстрацию, предпосланную Введению, я нашел на обложке официальной программы «Русских балетов в театре Шатле», изданной в 1911 году. Она была помечена именем А.Р.Марту, и тем же, 1911 годом. Прочие иллюстрации, открывающие каждую из четырех глав и Заключение, были подобраны и выполнены автором этих строк.

полосы и двигаться по часовой стрелке.

²⁹ Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга: Французская цивилизация. СПб, 2005.

Глава I. От Людовика I – до Людовика XIV



В космографическом прологе к Повести временных лет помещено повествование о том, как сыновья Ноя – Сим, Хам, а вместе с ними и Афет – разделили между собой землю, по жребию и при условии, чтобы «не преступати никому же в жребий братень»³⁰.

Засим следует перечень народов, населивших эти уделы. На западе и севере, составивших удел Афета, поселились, среди прочих, «русь, чюдь и вси языци», помимо же них и другие народы, в список которых включены: «свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии»³¹.

³⁰ Здесь и далее цитируем старейшую русскую летопись по изданию: Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д.С.Лихачева. СПб, 1996, в свою очередь, основанному на Лаврентьевской летописи 1377 г.

³¹ Древнерусские и церковнославянские тексты цитируем здесь и далее в упрощенном написании.

Французы в Повести временных лет

Общий план летописца при составлении приведенного перечня ясен: он представляет внутреннему взору читателя этнополитическую карту Европы от скандинавских народов – шведов, норвежцев, готландцев – до жителей Англии и далее полукругом к венецианцам и генуэзцам. Где-то в средней части этого перечисления и следует нам искать упоминание о французах. Сделав это предположение, мы бы, скорее всего, не ошиблись.

По мнению большинства исследователей текста, предков теперешних французов следует видеть либо в «галичанах», названных так по имени галлов – народа кельтского происхождения, населявшего с древности основную территорию современной Франции³², либо в «волхве» (в другом варианте, носившей еще имя «волохов»).

На эти предположения выдвинуты свои оговорки. К примеру, этноним «галичане» был бы вполне применим и к основному, кельтскому населению Уэльса (по-французски он так и называется по сей день – Pays de Galles). Название же «волохи» могло применяться у нас в старину почти что к любому народу романского корня, вплоть до итальянцев и румын³³.

Как бы то ни было, предки современных французов были, по всей видимости, упомянуты в прологе к тексту авторитетнейшей и старейшей русской летописи. Несмотря на это, в дальнейшем ее изложении они не упоминаются вовсе.

Между тем, к началу XII столетия, когда был завершен основной текст Повести, королевство французское давно уже отделилось (под именем Западно-Франкского государства) от Франкской державы, собранной воедино трудами славного Шарлеманя³⁴, миновало тяжелое время феодальной раздробленности и уже проходило новую консолидацию под скипетром воинственных Капетингов (не упустивших власть из рук своего дома, считая и его боковые ветви, вплоть до Великой французской революции).

Причина такого невнимания представляется в принципе ясной. Франция была отделена от Киевской Руси в первую очередь народами «немецкого мира», объединенными в рамках так называемого Восточно-Франкского государства, позже преобразованного в королевство германское. Далее на восток простирались земли западных славян, которым также доводилось создавать достаточно сильные государственные образования. Мы говорим в первую очередь о княжествах чешском и польском, образовавшихся к середине X века.

Географическое положение наложило свою печать на ход этнополитических контактов. До наступления Нового времени, русские и французы почти не входили в непосредственные отношения, отнюдь не проявляя признаков значительного интереса друг к другу. Именно это положение и зафиксировали в тексте пролога составители нашей Повести временных лет.

³² Откуда и выражение «нашествие Галлов и с ними двадцать языкъ», употребимое применительно к походу Наполеона в российской публицистике и пропаганде того времени.

³³ Краткий обзор современного состояния проблемы помещен в комментариях к указанному выше изданию Повести временных лет, на страницах 384-385 (Д.С.Лихачев) и 586-587 (М.Б.Свердлов).

³⁴ Так, на французский манер (Charlemagne, от латинского "Carolus Magnus"), иногда именуется Карл Великий.

Ранние русско-французские контакты

В пользу последнего вывода свидетельствуют и сохранившиеся свидетельства об отношениях представителей обоих отдаленных друг от друга государств, перекликавшихся «через голову» ближайших соседей. Еще в 839 году, император Людовик I Благочестивый принял посольство от византийцев. Узнав, что в составе его прибыли представители «народа Рос», он проявил к ним особое внимание, с интересом расспрашивая приезжих об их далекой земле.

Здесь нужно оговориться, что Людовик был, собственно, повелителем единого пока Франкского государства, составившего во времени и пространстве источник как французской, так и германской государственности. В силу этого факта, французы по сей день считают его своим, называя *Louis le Pieux* – немцы же, также вполне корректно, полагают Людовика носителем германского духа, соответственно именуя его на своем языке *Ludwig der Fromme*³⁵.

Прошло еще несколько столетий – и крупнейший французский церковный деятель, знаменитый Бернар Клервосский просил у своего польского корреспондента, епископа краковского Матвея, сведений о состоянии русского народа, прежде всего о его религиозных убеждениях, и получил от него подробный, хотя и нелицеприятный ответ.

Мотивы, лежавшие в основе интереса св.Бернара, станут для нас более ясны, если мы вспомним, что он был едва ли не главным вдохновителем второго крестового похода, начавшегося в 1147 году. Ум этого однодума и фанатика наверняка намечал более чем одну цель для атаки воинства католического мира... Что же касалось Людовика Благочестивого, то с племенами западных славян довелось воевать еще его отцу, славному Карлу Великому. К числу задач, оставленных им своему сыну, относилось дальнейшее расширение на восток, сопровождающееся насильственным крещением туземцев. В этих условиях, естественным было поинтересоваться, с кем дальше придется иметь дело, углубившись в леса Восточной Европы.

Многим читателям припомнится, помимо того, и романтический эпизод выдачи русской княжны, знаменитой Анны Ярославны, замуж во Францию (1049), послуживший уже как сюжет исторических повестей, а также художественных фильмов. Напомним, что Анне довелось стать королевой, а потом и правительницей страны в продолжение малолетства ее сына, вступившего с ходом лет на французский трон под именем Филиппа I³⁶. Помазание на царство рассматривалось в средневековой Франции – впрочем, не только в ней – с исключительной серьезностью. Как народ, так и знатные люди смотрели на короля с королевой как на подлинных носителей магической силы и, безусловно, мистического духа своей страны.

Не забывая об этих вполне справедливых обстоятельствах, нелишним будет напомнить, что выбор Генриха I пал на Анну именно в силу предельной удаленности ее державы от Франции, что исключало возможность даже самого отдаленного родства. Как помнят историки, Генрих родился в браке, который рассматривался современниками, а в первую очередь, папой римским, как кровосмесительный, и очень не одобрялся (его отец и мать приходились друг другу родней, кажется, в четвертом колене). Вот Генрих и решил сразу поправить дело, влив в жилы королей Франции неоспоримо свежую кровь.

Знание этого факта, впрочем, вовсе не умаляет достоинства киевских государей. Сам выбор говорит о том, что они рассматривались в качестве членов сообщества государей христианского мира, в широком смысле этого выражения. Сватовство французского короля, ска-

³⁵ Другая оговорка состоит в том, что посланцы «русского кагана» после недолгих расспросов признались, что являются чистокровными варягами.

³⁶ Изображение королевы и факсимиле ее собственноручной подписи на латыни, выполненной тем не менее кирилловским алфавитом («Ана Рѣина») см.: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1993, с.412.

жем, к половецкой принцессе было решительно исключено, как ни могуществен был бы в своей степи ее батюшка.

Исследование периодических контактов этого рода, само по себе составляющее немало-важную задачу исторической науки, не представляется существенно важным для нашей темы – прежде всего потому, что эти контакты не представляли возможностей для далеко идущего, тем более систематического обмена духовными ценностями. Значительно более плодотворно изучение типологических параллелей в развитии обеих держав. Принявшись за такое сопоставление, мы замечаем признаки несомненного подобия и даже внутреннего сродства.

Франция и Русь: исторические параллели

Действительно, попервоначально мы видим решительную доминацию в Западной Европе Франкского государства, расцвет которого пришелся на время правления Карла Великого (768-814). В Восточной Европе немного позже, к концу IX века, образуется Киевская держава, расцвет которой большинство историков приурочивают к эпохе Ярослава Мудрого (1019-1054).

При внуках Карла Великого, Франкское государство разделяется на три удела, со временем послужившие базой для сложения средневековой французской, немецкой и итальянской государственности. В свою очередь, древнерусское государство окончательно распадается при внуках и правнуках Ярослава Мудрого. Сходство между обоими процессами подметил и «взял на карандаш» британский общественед Карл Маркс, заметивший, что если важнейшие государства Западной Европы произросли из империи Карла Великого, то «империя Рюриковичей» совершенно аналогично предшествовала крупнейшим государственным образованиям Восточной Европы – Московскому царству и Литве с Польшей³⁷.

Пройдя через трудный период внутренних раздоров и феодальной междоусобицы, пережив потом иноземное (английское) вторжение в период Столетней войны (1337-1453), французское королевство выходит из испытаний окрепшим. Его почти необозримые пространства, слишком большие с точки зрения среднего жителя Западной Европы того времени³⁸, подвергаются жестокой централизации, а королевская власть расширяется до пределов абсолютизма. К XVI столетию, Франция становится самым крупным централизованным государством на Западе континента.

Миновав в свою очередь время феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига, русское государство было собрано воедино трудами московских государей, проводивших жесточайшую централизацию и преобразивших его к концу XVI века в крупнейшее государство Восточной Европы, а с присоединением Сибири – и мира.

Достигнув доминанции соответственно на востоке и западе европейского континента, обе цивилизации с ходом времени неминуемо должны были войти в более близкие отношения, а скорее всего и столкнуться, преследуя каждая свои, веками формировавшиеся цели. Вот как далеко во времени простирались корни проблемы, доставшейся «петербургской империи», а с ней и империи французской, в наследство от предыдущих веков.

³⁷ Маркс включил в упомянутый список еще и Османскую империю, что представляется все же не вполне убедительным.

³⁸ Иностранные историки, не в силах простить Франции ее размеры, постоянно донимали французов убийственными, по их мнению, вопросами типа того, как же это так получилось, что, располагая территорией, в 13 раз превышающей Голландию и имея в 80 раз больше добротных пахотных земель, Франция производила всего лишь втрое больший ВВП. Как знаком этот ход мысли отечественному читателю применительно к его собственной стране по трудам иных зарубежных русистов, а с ними и «прорабов» недавней перестройки... Подробнее см.: Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.3 / Пер. с франц. М., 1993, с.329-330 (оригинал книги был выпущен в 1979 г.).

Франция и Русь: метафизические параллели

Неустанно трудясь над укреплением своего могущества и расширением пределов владений, государи обеих стран придавали самое серьезное внимание метафизическому обоснованию своей власти. По линии светской, французские короли возводили свой род не то что к императорам Древнего Рима, но прямо к троянцам, а именно к легендарному Франку, сыну Гектора, о подвигах коего можно было прочесть хотя бы в Илиаде. Это, так называемое “троянское предание” вытеснило из народной памяти более старую, “варварскую” легенду о “стране Хуг” – древней прародине франков³⁹.

Напомним, что франки, завоевавшие основную территорию Галлии к началу VI столетия, были народом германского корня, обитавшим первоначально, повидимому, в низовьях Рейна. Растворившись с течением времени в массе местного, галло-романского населения и приняв его язык – местный вариант разговорной латыни, германские завоеватели навеки оставили ему свое имя. Поэтому и мы до сих пор называем страну, завоеванную в древние времена франками, не Галлией, но Францией, что значит буквально «страна франков».

В свою очередь, начало русской государственности традиционно у нас возводилось к «призванию варягов», то есть скандинавских дружин, говоривших на одном из древнегерманских наречий. Оставив стране свое имя, а летописцам – не вполне ясные воспоминания о первоначальном расположении, «варяго-россы» достаточно быстро растворились в массе местного, преимущественно славянского населения. По этим причинам и мы по сей день называем свою страну Россией, то есть именем скорее всего германского происхождения, а не, скажем, Словенией (по имени ильменских словен)⁴⁰.

Не забывая о старой своей, «варварской» родословной, московские государи со временем озаботились приисканием себе более почетной – а именно, римской родословной. Согласно изысканиям их идеологов, канонизированным в Сказании о князьях владимирских, которое было составлено в конце XVI века, род Рюрика велся на самом деле прямо от римского императора Августа⁴¹. Как видим, при осмыслении происхождения своего государства и корней его светской власти мысль как французских, так и древнерусских книжников следовала примерно одной колее.

Помазание на престол в обеих странах входило в компетенцию представителей церкви. Во Франции это был архиепископ, представлявший в своей стране папу римского. Сохраняя должное почтение к святому престолу, французские короли старались всемерно ограничить влияние пап на свою внутреннюю и внешнюю политику, а по возможности и поставить их власть под свой контроль.

В 1309 году, папа даже перенес свою резиденцию в формально принадлежавший ему, расположенный в Южной Франции город Авиньон, где она оставалась в продолжение 70 лет (получивших в истории католической церкви наименование “авиньонского пленения”). Соответственно, в продолжение этих лет хранитель ключей св.Петра должен был бы по справедливости именоваться папой не римским, но авиньонским (или французским). В целом же, по духовной линии санкция на высшую власть восходила всегда к Риму.

³⁹ Подробнее см.: Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в VI-VIII вв. // Одиссей: Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. 1989. М., 1989, с.72.

⁴⁰ «И от тех варяг прозвася Руская земля», – пометил составитель Повести временных лет под 6370 годом (862 годом, по нынешнему счету). Краткую справку о современном состоянии проблемы этимологии названия «Русь» см.: М.Б.Свердлов. Дополнения // Повесть временных лет. СПб, 1996, с.596-597.

⁴¹ «Они же шедше в Прускую землю и обретоша там некоего князя именем Рюрика, суща от рода римского Августа царя», как говорит о посланцах новгородского воеводы Гостомысла составитель Сказания.

К Риму же – в первую очередь, ко “второму Риму”, то есть Царьграду – восходила духовная власть и на Руси. С падением Константинополя, московские власти (мы говорим о царе Федоре и правителе Борисе Годунове) озаботились повышением ее статуса, пригласили к себе константинопольского патриарха и некоторое время колебались, предложить ли ему перенести свою резиденцию на Русь (скорее всего, во Владимир), либо же убедить в целесообразности утверждения в Москве нового, пятого по счету патриаршего престола. Детали переговоров известны историкам и в основных чертах очень напоминают о духе “авиньонского пленения”...

Как бы то ни было, в 1589 году согласие на поставление русского патриарха было получено. После этого, московские государи могли быть вполне уверены в том, что духовная власть – на их стороне. Ну, а нам остается сделать тот вывод, что духовные скрепы как в королевстве французском, так и на русской земле устанавливались в средние века весьма схожим образом.

Франко-норманны и варяго-россы

Возвращаясь к факту географической отдаленности наших стран, нужно сказать, что и здесь все обстояло далеко не так просто. Ведь помимо обширных пространств суши, разделявших их, были моря, испокон веков соединявшие самые отдаленные народы и цивилизации. На севере это был прежде всего путь по Северному и Балтийскому морям, а на юге – маршруты, проложенные по Средиземному и далее – Черному морю.

На заре исторического бытия обеих держав, а именно в IX столетии, “северный путь” находился в руках скандинавских дружин, известных у нас под именем варягов, а на западе – норманнов⁴². Грубые и жестокие воины, подвергавшие систематическому разорению берега европейских стран, они создали притом удивительно эффективную систему сбора дани и поддержания транзитной торговли на обширном пространстве от русских земель на востоке до франкских – на западе.

Точней говоря, маршрут был круговым. Его описание приводится уже на первых страницах основного текста Повести временных лет, причем дважды. Сперва летописец говорит, что “бе путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру”, далее, после волока, по реке Ловоти, вплоть до “Блмера озера великого”, а оттуда в “озеро великое Нево”, потом же в Варяжское море, и оттуда до Рима и Цареграда.

Озеро Нево мы теперь называем Ладожским, по нему получила название и река, на которой был позже основан Санкт-Петербург (а прежде него, примерно на том же месте – и шведский Ниен, получивший свое имя по названию той же реки, только в ином произношении). Она тоже упомянута в Повести, но просто как устье озера Нево. Действительно, короткая, но широкая Нева вполне может восприниматься так и в современности. Таким образом, наши места были впервые упомянуты на первых страницах старейшей русской летописи.

Чуть ниже по тексту, тот же маршрут, с остановками на местах позднее основанных Киева и Новгорода, был помянут летописцем при описании путешествия апостола Андрея Первозванного. “Русь и Константинополь, Рим и Запад – вот четырехчленная структура романского мира. Норманны, варяги были наиболее подвижным и относительно самостоятельным его элементом”, – справедливо отметил современный историк, осмысляя особенности “норманнской цивилизации”⁴³.

При чтении Повести временных лет, особое наше внимание привлекает тот факт, что ни в первом, ни во втором случае ничего не сказано о каких-либо препятствиях при следовании по этому, “круговому” маршруту вокруг всей Европы. Между тем, в IX столетии, а впрочем, и позже норманны славились исключительной агрессивностью. В 841 году, они поднялись по Сене, взяли приступом и разорили Париж, в 885 году вернулись туда снова и подвергли город изнурительной 13-месячной осаде.

Несколькими десятилетиями позже, норманны заняли побережье Северо-Западной Франции, прилегавшее к проливу Ла-Манш и земли вверх по реке Сене, образовав там герцогство, которое называли просто Нормандия, то есть «страна норманнов». В течение двух-трех поколений, пришельцы были ассимилированы местным населением и влились в состав северофранцузской народности, но само имя Нормандии осталось на карте Франции по сей день. В следующем, XI веке франко-нормандские феодалы во главе с герцогом нормандским Виль-

⁴² Первый этноним, скорее всего, происходил от древнескандинавского слова “vág” (обет, клятва) и, соответственно, обозначал воина, пошедшего на службу по договору. Происхождение второго более прозрачно, он означал просто «северный человек», северянин.

⁴³ Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985, с.264.

гельмом переправились через пролив и подчинили себе Англию. То было последнее большое вторжение извне, заложившее основы современной английской цивилизации.

В этой связи можно заметить, что у многих авторитетных историков, работавших с текстом Повести временных лет, сложилось устойчивое представление, что эти события были русскому летописцу в общих чертах известны. Дело в том, что прежде «перечня народов», который был нами цитирован в самом начале этой главы, стоит весьма любопытная фраза. Она звучит так: «По сему же морю⁴⁴ сеять варязи семо к востоку до предела Симова, по тому же морю сеять к западу до земли Агнянски и до Волошьски».

Иначе сказать, в наших краях варяги сидели в старину по всему пути «из варяг в греки», на западе же доминировали на Балтийском и Северном морях вплоть до Англии и до «Волошской земли». Под последней, скорее всего, следует понимать Францию. Однако нельзя исключать, что в данном случае летописец имел в виду только Нормандию, в силу того факта, что на своем языке норманны могли называть ее «Valland»⁴⁵.

Кроме того, во времена Киевской Руси было вполне корректным называть Нормандию и «английской землей», как следствие того положения, что, завоевав Англию и став, соответственно, королем английским, герцог нормандский сохранил свои владения по другую, французскую сторону пролива, вплоть до начала XIII столетия...

Как бы то ни было, но пространства северных морей, остававшиеся непроницаемыми для мореплавателей и купцов из других стран, были открыты для путешественников, принадлежавших к «норманнской цивилизации», либо располагавших в ней авторитетными покровителями. Жители Древней Руси к этому миру принадлежали, о чем летописец так настойчиво и убедительно говорит, дважды описывая путь «из варяг в греки» в начале своей летописи. Само это положение создалось как следствие «призвания варягов», описанного в той же Повести с необходимыми подробностями несколько ниже, под 862 годом (по нашему летосчислению).

Заметим, что, если следовать тексту летописи, получается, что «русь, чудь, словене» и прочие насельники Верхней Руси сначала изгнали варягов за море, отказав им и в дани, затем погрузились в междоусобные раздоры, и только после того послали за варягами вновь, обусловив притом их вокняжение четко оговоренными кондициями⁴⁶. Следовательно, не варяги, но предстатели местного населения полагали себя хозяевами положения на берегах Волхова и Невы. А ведь дело происходило в разгар «века викингов», когда им, казалось, никто, кроме разве что византийцев, не мог противостоять. Во всяком случае, франки о том и мечтать не могли.

Отметив своеобразие ситуации, нужно оговориться, что в одном, и в весьма важном отношении предки теперешних французов, безусловно, превосходили норманнов. Речь идет о началах государственности, присущих франкам с древних времен. «Уже при Меровингах можно говорить о своеобразном политическом мессианизме франков: они самой историей предназначены, чтобы создать могущественное королевство, «квазиимперию», и господствовать над другими народами. Позднее, при Каролингах, это представление франков о себе получит завершение в концепции «царственного народа» (*gens regalis*)»⁴⁷. Остатки римского государственного устройства, в некоторых сферах достаточно прочные, сохранились в жизни и местного, галло-римского населения.

⁴⁴ «Варяжскому», то есть Балтийскому.

⁴⁵ См.: Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д.С.Лихачева. СПб, 1996, с.384.

⁴⁶ Именно так понимает «наряд», упомянутый в формуле «призвания варягов», современная историческая наука (см.: Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. «Ряд» легенды о призвании варягов в контексте раннесредневековой дипломатии // Славяне и их соседи. М., 1989, с.9-11).

⁴⁷ Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в VI-VIII вв. // Одиссей: Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. 1989. М., 1989, с.64.

Ничего подобного на Руси, разумеется, не было. Именно в силу этого факта, русские с давних времен возводили устройство своего государства к «призванию варягов», в жизни же Франции норманнское влияние сохранило свой временный и локальный характер.

Было, впрочем, сословие, психологический склад которого испытал более глубокое влияние норманнов, а в известной степени и сформировался под их влиянием. Мы говорим, разумеется, о севернофранцузском рыцарстве, под определяющим влиянием которого выработались психологические доминанты и западноевропейских феодалов в целом.

Обращаясь к старофранцузской словесности, сохранившей немало ценившихся в этой среде сочинений, исследователи регулярно сталкиваются со следами более архаичной – так сказать, «проторыцарской» – ментальности. В этом случае целесообразно предположить, что перед нами – следы дружинной поэзии, в свою очередь, нередко хранящей следы древней «воинской магии». К текстам этого рода относится небольшая старофранцузская поэма, зафиксированная на бумаге (точнее, пергамене) во второй половине XIII века.

“Qui est li gentis bachelers?
Qui d’espée fu engendrez,
Et parmi le hiaume aletiez...”

Даже располагая лишь знанием современного французского языка можно понять, что автор этого стихотворного текста задается вопросом, что (qui) представляет собой (est) подлинный – так сказать, образцовый (gentil) – рыцарь (bachelor⁴⁸). Ответы на этот вопрос нанизываются один за другим на одну монотонную рифму. Такой добрый молодец был (fut⁴⁹) рожден (engendré) мечом (ée), а (et) вскормлен (allaité) среди (parmi) шлемов⁵⁰... Располагая желанием и досугом, читатель легко может сравнить наши предположения с переводом привлекшего наше внимание текста, выполненным специалистом⁵¹.

Далее автор продолжает описывать идеального рыцаря, а исследователь задается вопросом, откуда мог, в частности, взяться весьма архаичный мотив «рождения от меча». Перебирая возможные варианты, А.Д.Михайлов полагает в данном случае возможным влияние либо норманнской, либо же англо-саксонской дружинной поэзии (генетически обе были весьма близки). По общим соображениям, мы бы не исключили возможности также латентного франкского влияния.

Вслед за этим, отечественный историк литературы обращается к удивительно схожему фрагменту из «Слова о полку Игореве», где молодые дружинники были также «под трубами повити, под шеломи възлелеяни, конец копыя въскрьмлени». Не отрицая возможности независимого развития в одну эпоху и в схожих условиях подобных друг другу образов, нужно отметить, что и для нашего Слова употребленные выражения являются, пожалуй, достаточно архаичными.

⁴⁸ Сразу оговоримся, что в словаре современного французского языка зарегистрировано лишь слово “bachelier”, применимое в наши дни не более чем к носителю низшей ученой степени (в наших университетах и институтах, кажется, также с недавнего времени появились «бакалавры»). Источником обоих слов послужило латинское “baccalaureus”.

⁴⁹ Это – глагол être, употребленный в порядочно теперь устаревшем, но по старинке включаемом в грамматические пособия «простом прошедшем времени», Passé simple.

⁵⁰ В теперешнем французском языке «шлем» будет “casque”. Слово это представляет собой относительно недавнее (примерно пятивековой давности) заимствование из испанского языка. В данном же тексте, автор употребил более древнее слово “hiaume”, несомненно произошедшее от древнегерманского корня, близкого к древневерхненемецкому “hēlm” (к которому следует, кроме того, возводить, с одной стороны, современное немецкое “Helm” в том же значении, а с другой – и хорошо нам знакомое русское слово «шлем» и такие производные от него лексемы, как «ошеломить»).

⁵¹ Михайлов А.Д. Об одной старофранцузской параллели «Слову о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986, с.88-89.

Между тем, применительно к Слову о полку Игореве историки литературы давно предполагают влияние более архаичной варяжской дружинной поэзии⁵². Приняв во внимание эти соображения, можно предположить, что в данном случае перед нами – пример независимого влияния норманнов на ментальность, с одной стороны, французского рыцарства, с другой – древнерусской «младшей дружины», нашедшая нетривиальное отражение в их словесности.

В целом же, «норманнская цивилизация» послужила фактором, не разделявшим, но способствовавшим культурным контактам раннесредневековых обществ Франции и Руси.

⁵² Шарыпкин Д.М. «Рек Боян и Ходына...» (к вопросу о поэзии скальдов в «Слове о полку Игореве» // Скандинавский сборник, 1973, Т.18, с.195-202; Idem. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // Труды отдела древнерусской литературы, 1976, Т.31, с.14-22

Крестоносцы на Босфоре и на Игоре

В 1096 году папа римский Урбан II на одном из церковных соборов, посвященных решению стратегических проблем западного мира, призвал «королей, благородных сеньоров, рыцарей и всех христиан» оставить свои повседневные занятия, вооружиться и отправиться в поход на Иерусалим. Собор был созван во французском городе Клермон, а французское рыцарство откликнулось на призыв с немалым энтузиазмом.

Рыцари северной и средней Франции выступили в поход под предводительством Роберта, герцога Нормандии и других феодалов, южнофранцузские рыцари шли под командованием графа тулузского Раймунда. К ним нужно добавить многочисленную пехоту, в ряды которой по благословению своих кюре встало немало простых французов. Первый крестовый поход, равно как и последовавшие за ним, стал в значительной степени «французским предприятием».

Формальной целью походов была декларирована только одна – освободить от неверных гроб Господень, а с ним и Святую Землю. За этим декорумом скрыт был, как это обычно случается в истории, ряд иных, вполне меркантильных интересов, один из которых прямо касался Руси. Дело все было в том, что путь «из варяг в греки» постепенно стал на одном из его участков, а именно в нижнем течении Днепра, практически непроходим. В конце IX века, в степях к югу от Киева появились печенеги, в середине XI столетия их сменили половцы.

Набеги степных кочевников, столь же агрессивных, как и недальновидных, постепенно прервали весьма оживленное в прежние времена сообщение с Востоком по нашему торговому пути, а он был когда-то не только оживленным, но, по понятиям того времени, и достаточно безопасным. Европе пришлось озаботиться поисками новых маршрутов в сношениях со сказочно богатыми тогда странами Леванта (Восточного Средиземноморья). Успешный крестовый поход мог радикально решить эту проблему, раз навсегда связав напрямую страны Западной Европы с Ближним Востоком.

Удача, как помнят историки, сопутствовала поначалу продвижению крестоносцев. На завоеванных землях Палестины и южной Сирии было к радости всей Европы образовано Королевство Иерусалимское. Его королем был избран лотарингский герцог Готфрид Бульонский⁵³, бывший формальным главой крестоносного воинства. Западноевропейские купцы получили прямой доступ к ближневосточным рынкам, а завоеванные богатства хлынули в прежде совсем небогатые замки французских, английских, немецких феодалов.

В результате IV крестового похода (1202-1204), была сокрушена Византия, прежде активно занимавшая посреднической торговлей между мусульманским и католическим мирами. Константинополь был взят и разграблен, а на обломках православного государства крестоносцами была создана так называемая Латинская империя. Только через полвека, византийцам – и то лишь при помощи генуэзского флота, решавшего собственные задачи, которые в данном случае сводились к максимальному ослаблению венецианской торговли – удалось вернуть себе Константинополь. Однако от нанесенного крестоносцами удара Византии не удалось оправиться в полной мере никогда.

Русские с пристальным вниманием следили за бурными событиями, разыгравшимися в восточном Средиземноморье, а некоторые даже свели личное знакомство с западными рыцарями. Так, вскоре после завершения первого крестового похода некий игумен Даниил совершил паломничество из Черниговской земли в Палестину, в ходе которого посетил Иерусалим и провел там около полутора лет. При удобном случае, он счел уместным представиться королю

⁵³ Точнее, его титул звучал «защитник гроба Господня», зато королями назывались преемники Готфрида.

иерусалимскому Болдуину⁵⁴ – с тем, чтобы испросить разрешение на установку у гроба Господня кандила (лампады) «от всея Русьския земля».

Позволение было дано безотлагательно, причем, вспоминая обстоятельства встречи, игумен особо пометил в своих путевых записках, что Болдуин «познал мя бяше добре и любил мя велми, яко же есть муж благодетен и смирен велми и не гордиться ни мала»... Хождение Даниила в Святую Землю широко читалось у нас и переписывалось; современным ученым известно не менее ста его копий. Таким образом, отношение отечественного читателя к крестоносцам стало формироваться на началах, как говорят сейчас, христианского экуменизма.

Совсем иное впечатление произвело у нас взятие рыцарями Константинополя и его разграбление в 1204 году. Основной текст Повести о взятии Царьграда фрягами дошел до настоящего времени в составе ряда авторитетных летописей, включая и Первую Новгородскую. Составитель его смотрел на дело весьма трезво. Сознывая, что речь шла о крушении православного царства и разграблении храма св.Софии, то есть о небывалых кошунствах, он все же не возводил на крестоносцев напраслины. Описывая их грабежи и насилия, свидетелем коих он либо был сам, либо его местные информанты, русский автор нашел необходимым особо оговорить, что все эти безобразия происходили вопреки прямому запрету как императора, так и папы римского⁵⁵.

Как бы то ни было, эти события вскоре отозвались на другом конце Европы – а именно, на берегах Ижоры, Волхова и Чудского озера. Будучи поставлены между шведско-немецкой наковальной и татаро-монгольским молотом, представители Новгородской земли отдали решительное предпочтение держателям последнего.

Точнее сказать, Александр Невский оценивал обстановку весьма прагматически, исходил из реального соотношения военных сил в регионе и лавировал, не придавая особого значения последовательности своих действий. Тем не менее, составители его Жития, писавшие по горячим следам событий, отобрали из них самые, по их мнению, показательные и выстроили на этой основе исключительно убедительную концепцию того, что на современном языке называется стратегическим выбором.

Будучи вполне осведомлены о национальной принадлежности западных агрессоров, составители Жития Александра Невского увидели в них прежде всего пришельцев «от Западных стран», «от части Римския от полунощныя страны», то есть представителей римско-католической цивилизации⁵⁶. Помимо того, упомянуто, что они нарицали себя «слуги божия», или «божия ритторы». Оба выражения весьма показательны: они отсылают читателя к миру западноевропейского рыцарства, в той его специфической форме, которую оно приобрело в эпоху крестовых походов.

Действительно, на Чудском озере князю Александру довелось иметь дело с рыцарями Ливонского ордена, а он образовался незадолго прежде того как следствие объединения ордена меченосцев с Тевтонским орденом. Последний принадлежал к числу трех великих духовно-рыцарских «орденов Святой Земли», основанных на волне первых крестовых походов, что же до первого, то он был образован в Прибалтике в 1202 году, в общих чертах следуя образцу ордена тамплиеров. Шведы в общих чертах согласовывали свои действия с немецкими рыцарями и были им близки по духу.

Несколько ниже по тексту Жития, помещено и известие о послах, прибывших к князю Александру уже непосредственно «от папы из великого Рима», с предложением выслушать их духовные поучения. В ответ князь послал папе письменный ответ, в котором указал, что

⁵⁴ Любопытно, что в тексте своих записок русский монах называет короля Болдуина все-таки «князем».

⁵⁵ Подробнее о текстах Хождения игумена Даниила и Повести о разграблении Царьграда фрягами см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (XI – первая половина XIV в.). Л., 1987, с.109-112, 352-354.

⁵⁶ Здесь и далее, мы основываем наши наблюдения на тексте издания: Повесть о житии Александра Невского / Древнерусский текст, перевод и примечания В.И.Охотниковой // Воинские повести Древней Руси. Л., 1985, с.120-136, 474-476.

он осведомлен в событиях как библейской, так и церковной истории от Адама – до великих церковных соборов, «а от вас учения не приемлем». И это известие отнюдь не расходилось с истиной. Историки помнят, что в конце 1240-х годов, папа римский искал контактов с Александром Невским и предлагал ему объединиться с католическим воинством – с тем, чтобы «с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать»⁵⁷.

Без особой симпатии, однако в совсем иных тонах описаны контакты с Ордой. Во главе ее стоит «царь силен в Восточней стране, иже бе ему Бог покорил языки многы, от востока даже и до запада». Власть Батыя рассматривалась составителями Жития, таким образом, в качестве богоугодной. В первую очередь, это было связано с тем известным фактом, на первых порах татаро-монголы вовсе не притесняли православную церковь на Руси, и даже оказывали ей покровительство. Неудивительно, что, призвав к себе в ставку князя Александра, царь Батый подивился ему и отпустил с честью.

Вот как представлены в Житии два мира – западный и восточный. В свете сказанного, очевидно, почему князь Александр отстранился от первого и в конце концов примкнул со своей землей ко второму. По общему мнению историков, немалую роль в этом выборе сыграло тяжелое впечатление, которое на Руси произвел погром, учиненный в Константинополе крестоносцами за несколько десятилетий до того, в 1204 году.

Кстати, Батый был назван царем в тексте Жития Александра Невского, в конечном счете как результат тех же событий. Ведь, пережив крушение Византийской империи, русские поначалу не знали, к кому отнести титул царя, и достаточно тяжело переживали своеобразное чувство беспризорности, комплекс «вакуума верховной власти» образовавшийся таким образом в коллективной психологии. Приняв свое стратегическое решение, наши предки освободились от этого психологического комплекса, перенесли титул царя на монгольского хана.

Ну, а плоды тех решений мы ощущаем по сие время. Если восточный рубеж Европейского союза проходит в наших местах чуть севернее Карельского перешейка и имеет все шансы вскоре пройти по реке Нарове и Чудскому озеру – мы говорим, разумеется, о границах с Финляндией и с Эстонией – то такое положение восходит в конечном счете к судьбоносному выбору, сделанному после долгих, мучительных размышлений святым благоверным князем Александром Невским и поддержавшими его «мужами новгородскими».

⁵⁷ Цит. по: Горский А. Александр Невский // Родина, 1993, N 11, с.30-31.

Тамплиеры в Париже и в Петербурге

В ходе дальнейшей истории, отзвуки эскапад крестоносцев периодически доходили до приневских земель. Имея в виду наш основной, метафизический интерес, здесь следует упомянуть об оккультной традиции, в течение многих веков упорно возводившейся европейским общественным мнением к тамплиерам.

Напомним, что орден «Бедных братьев храма Иерусалимского» – короче, храмовников или тамплиеров⁵⁸ – был основан крестоносцами в Палестине в начале XII столетия и поначалу ставил в своем уставе исключительно благочестивые цели – в первую очередь, охрану паломников ко гробу Господню, равно как защиту католической веры в Святой Земле.

С течением времени, братья-храмовники предали торговому и даже ростовщическим операциям, перенеся их и на европейский континент. Это принесло ордену сказочные дивиденды, а вместе с ними всеобщую зависть европейских монархов. Как следствие, в 1312 году папа римский упразднил орден. Еще через два года французский король Филипп Красивый⁵⁹ конфисковал имущество, которым братья-храмовники располагали во Франции и послал их последнего великого магистра, по имени Жак де Молэ, на костер.

История тамплиеров в большой степени была связана с французскими землями. Оттуда происходили основатели ордена – его первый великий магистр Гуго де Пайанс с ближайшим своим советником, рыцарем Годфруа де Сент-Омером, там орден расположился в XIII веке и проводил свои операции наиболее вольготно, там он поднялся к высшим ступеням могущества и был с них низринут. С Францией связаны и наиболее яркие эпизоды «посмертного существования» ордена.

Дело в том, что, согласно преданию, получившему широкое распространение, идя на костер, последний магистр ордена наложил некое весьма сильное проклятие на род французских королей. Действительно, король Филипп Красивый отправился в лучший мир в том же, 1314 году – по всей видимости, не без помощи затаившихся тамплиеров. Участие их в трагическом конце ряда последующих королей представлялось трезвомыслящим людям уже значительно менее вероятным. Однако начало легенде было положено – и какое начало!

«Проклятие тамплиеров» продолжали поминать французским королям при всяком удобном или сомнительном случае. Вера в его силу была основана на том факте, что первые поколения тамплиеров использовали свое пребывание на Востоке не только для обороны католической веры, но и для знакомства с местными магическими и оккультными практиками. Глубина их влияния на духовную жизнь обычного рыцаря-храмовника остается до настоящего времени не вполне ясной, однако влияние таковых на символику и церемониал ордена не подлежало сомнению.

Как бы то ни было, но 20 января 1793 года, короля Франции⁶⁰ Людовика XVI увезли на эшафот именно из Храмовой башни, расположенной на северо-востоке тогдашнего Парижа, в квартале Марэ. Жители французской столицы припомнили в этой связи, что в старину, а именно около 1139 года, этот квартал, бывший тогда не более чем нездоровой, болотистой и редко заселенной окраиной города⁶¹, избрали своей резиденцией рыцари-тамплиеры. Они

⁵⁸ От латинского слова «храм» – “templum” и, соответственно, французского “temple”.

⁵⁹ Бывший, кстати сказать, прямым потомком в восьмом поколении русской княжны Анны Ярославны.

⁶⁰ Говоря строго, бывшего короля: он был формально свергнут с престола в августе 1792 года.

⁶¹ По-французски “marais” и значит «болото». Кстати, заметим, что первоначальное, латинизированное название самого Парижа было Лутетия (“Lutetia [Parisiorum]”), что звучало подозрительно схоже с латинским же “lutea” («грязная, глинистая»), на основании чего Вольтер, например, без долгих сомнений заявлял, что первое имя Парижа значило «грязный». В противовес этой этимологии возникла другая, сторонники которой производили слово «Париж» не от имени галльского племени паризиев (“Parisiorum”), основавших его в седой древности, но от французского “paradis” («рай, парадиз») с усечением

осушили самые топкие места, возвели комплекс жилых, равно как и культовых зданий, среди которых была Храмовая башня и обнесли их прочной стеной. С тех пор и по сей день, весь квартал Марэ соотнесен на метафизической карте Парижа с духовностью тамплиеров.

Оговоримся, что предприняв прогулку по кварталу Марэ, читатель не сможет, к великому сожалению, осмотреть эту таинственную башню, возведенную в XIII столетие: она была снесена вскоре после великой революции, а именно при Наполеоне I – с тем, чтобы исключить начавшиеся было ночные паломничества роялистов. Однако до наших дней сохранились как следы общей планировки тамплиерского квартала, так и названия вроде «улицы Белых плащей» (“Rue des Blancs Manteaux”). Тамплиеры ведь традиционно отличали друг друга по белым плащам с нашитым поперх красным восьмиконечным крестом.

В целом же получалось, что проклятие великого магистра продолжало долетать над французскими королями даже и через несколько столетий. Многие шли еще дальше и говорили о том, что сама революция была подготовлена сетью законспирированных организаций, духовность которых по прямой линии восходила к тайному учению средневековых рыцарей Храма. Действительно, в предреволюционном масонстве XVIII столетия существовало весьма авторитетное и распространенное течение, претендовавшее именно на такую преемственность.

На заседания “тамплиерских лож” братья являлись в одеяниях, воспроизводивших доспехи средневековых храмовников и их опознавательные эмблемы, в первую очередь – красный восьмиконечный крест. В качестве дополнения, в центре его мог помещаться небольшой картуш с изображением мертвой головы, пронзенной кинжалом, и инициалами J.M. – последнего великого магистра ордена, Жака де Молэ.

Известны и логи того времени, в ритуалах которых преподавалось тайное значение общепринятых паролей первых трех степеней староанглийского, «иоанновского» масонства: «якин–боаз–макбена» (“jakin–bo(h)az–makbena”). Согласно «скрытому учению», которое сообщалось адепту, добившемуся возведения в один из “тамплиерских градусов”, надобно было обращать внимание не на значение, но только на первые буквы этих трех слов. Вместе они составляли монограмму JBM, которую следовало читать как “Jacob Burgundius Molay”, сиречь все тот же магистр Жак де Молэ.

Напоминанию о его трагической гибели был посвящен ряд символических предметов или же действий, включенных в ритуалы таких лож. К первым следует отнести горящие факелы, которые «новые тамплиеры» поднимали в руках – в напоминание о том костре, на который магистр ордена послан был волей французского короля, при фактическом бездействии папы римского, в далеком 1314 году. К последним относилась торжественная клятва отомстить королю и папе за трагедию ордена и его предстоятеля, которую обязаны были давать члены лож. В литературе по истории масонства можно встретить упоминания о том, что при этом имелись в виду не участники давно прошедших событий, но здравствовавшие в то время носители высшей духовной и светской власти в западном мире, не исключая и Франции⁶².

На приведенные доводы есть свои возражения, и достаточно убедительные. Прежде всего, легенда о непрерывной цепи тайных посвящений тамплиеров особенно уязвима в ее главном звене – там, где она вышла на поверхность новой истории Европы, то есть приблизительно в середине XVIII века. Именно в то время во Франции была образована так называемая «клермонтская система», знаменитая тем, что в ее рамках исходное, староанглийское масонство было впервые дополнено рядом высших по отношению к нему степеней, ряд из которых был возведен к прямо к традиции рыцарей-храмовников. Акты, на которые при этом ссыла-

четвертой и пятой букв. В данном случае наше внимание привлекает не сомнительная этимология, но скрытая связь с метафизикой Петербурга – «парадиза, основанного на болоте» – или же довременной чухонской топи, которая стала парадизом для посвященных).

⁶² См., например: Соколовская Т.О. Обрядность вольных каменщиков // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. М., 1991, с.104-111 (репринт издания 1915 года).

лись предводители «клермонтского масонства», расцениваются независимыми экспертами как либо подложные, либо неубедительные.

Что же касалось до ниспровержения основ и всяческого тираноборчества, то сей дух был присущ изначально лишь части французских лож, в других же, в особенности заграничных, весьма быстро выветрился. Дело в том, что магистральная линия развития «нового тамплиерства» перешла вскоре из Франции в немецкие земли, где оформилась сперва в виде «системы строгого наблюдения» барона К.Г. фон Гунда, а позже, в 1770-х годах – в рамках так называемого «шведско-берлинского масонства», заложенного трудами И.В. фон Циннендорфа.

Сохранив и всемерно развив учение о том, что Спаситель преподавал некоторым из своих учеников тайные знания, сохраненные затем в недрах тамплиерского ордена, равно как и прочие мистические легенды, ни немецкие, ни шведские деятели не были склонны ни к вольнодумству, ни к мечтам о поголовном равенстве. Напротив того, они полагали, что исцелить язвы современного им общества можно, вернувшись в феодальное средневековье и восстановив жесточайший порядок на манер старейших духовно-рыцарских орденов.

Знатные россияне своевременно ознакомились со всеми указанными выше масонскими системами (к числу виднейших деятелей французского «нового тамплиерства» относился, к примеру, граф Александр Строганов), однако же наибольшее распространение оно получило у нас в составе «циннендорфского», шведско-берлинского масонства, а потом – «северной», шведской системы. В силу этого обстоятельства, вольнолюбивые, во всяком случае, тираноборческие мотивы были российскому тамплиерству решительно не свойственны. Для части французских лож, наличия такой ориентации, приведшего некоторых из их членов в ряды разрушителей монархии, как нам уже довелось отметить, вполне исключить нельзя.

Пройдя, таким образом, возрождение – правильнее же сказать, построение заново – на берегах Сены и Луары, мистическое учение тамплиеров достигло наконец и берегов Невы, а своды домов, где происходили сходки петербургских масонов, огласил древний клич воинственных крестоносцев – “*Dieu le veut!*”⁶³.

Вкус к устройению пространства – в первую очередь, домовых лож, но, кроме того, и более обширных участков, вплоть до фрагментов дворцово-парковых комплексов – был ему в высшей степени присущ. Примером его применения в Петербурге могли служить отдельные помещения первоначального дворца на Елагином острове. Владелец его, видный сановник Иван Перфильевич Елагин, принял в свое время титул Великого провинциального мастера всех лож Российской империи, то есть, так сказать, масонского патриарха. Был он посвящен и в тайны «тамплиерских градусов», а через его дворец на окраине Петербурга прошел весь цвет отечественного масонства.

Дворец был впоследствии перестроен, парк также был перепланирован. Но слава «зачарованного острова» осталась за Елагиным островом еще надолго. Ее поддерживали остатки каких-то непонятных монументов, долго еще стоявшие близ его южной оконечности. То были памятники известным деятелям масонства, установленные в свое время по приказанию И.П.Елагина. Дав в свою очередь начало «мифу Островов» как зачарованного урочища Петербурга, мистическое пространство Елагина нашло себе яркое воплощение в магистральной линии «петербургского текста» русской литературы – от «Медного всадника» до «Преступления и наказания».

Как поздно и в какой искаженной форме ни пришла к нам духовность рыцарей-тамплиеров, ей суждено было составить немаловажную область российско-французских метафизических связей.

⁶³ «Бог этого хочет!» (франц.).

Впрочем, в систематическом изложении нам довелось пока добраться лишь до времен Новгородской Руси. Пора обратиться к рассмотрению некоторых важных для нашего исследования, характерных черт организации ее духовной жизни.

Городская цивилизация от Парижа до Новгорода

Основой психологического строя новгородцев XIII-XV столетий было ощущение себя гражданами сильного государственного образования, внутренняя организация которого включала существенные элементы народовластия («вечевой демократии»), внешние сношения с европейскими странами и союзами (в первую очередь Ганзой), были взаимовыгодными (в принципе же – и равноправными), а территория охватывала необъятные и богатые земли русского севера. В их число входили и приневские земли, включавшиеся в ту эпоху в состав так называемой Водской пятины.

Определив вслед за А.В.Арцыховским государственный строй Новгородской Руси как «особый тип феодальной республики», отечественные, равно как и зарубежные историки неизменно подчеркивают, что образцом для ряда характерных новгородских нововведений послужило так называемое Магдебургское право, которым пользовались многие города сопредельных стран, и самый дух западноевропейских городов того времени в целом. Между тем, Франция принадлежала к числу стран, где западноевропейская городская цивилизация зародилась, окрепла и, несмотря на постоянное сопротивление феодальной знати, породила ее могильщика (буржуазию) и победила по всем статьям.

Многие частности этого процесса еще подлежат уточнению. У старых историков была склонность сводить все к преобладанию либо романского, либо германского элемента. В первом случае, городская цивилизация виделась как продолжение традиции античного, в первую очередь – древнеримского города и шла, соответственно, с юга. Во втором, европейский город вырастал из германского укрепления (бурга) и, соответственно, городская цивилизация продвигалась с севера.

Даже не будучи знакомыми с литературными первоисточниками, мы могли бы предположить, что первая теория была выдвинута в кругу французских ученых, вторая – скорее всего, германских. Как ни странно, мы совсем не ошиблись бы. Кроме того, на территории Франции, где германские племена франков сперва покорили местное галло-римское население, а потом и слились с ним, можно бы было сразу предположить своеобразное наложение обеих волн – «северной» и «южной», что также находит себе подтверждение в историческом материале⁶⁴.

Вспомнив все эти хрестоматийно известные сведения, нам оставалось бы обратиться к свидетельствам о непосредственных контактах представителей французских городов с новгородцами и очертить случаи плодотворных влияний. Пойдя этим путем, мы, к сожалению, остались бы внакладе. Следует оговориться, что отдаленные влияния, вне всякого сомнения, имели место – однако они были, как правило, опосредованными, притом чаще всего запоздалыми, либо же искаженными. Эта закономерность представляется нам определяющей для всей совокупности новгородско-французских культурных контактов.

Действительно, ведем ли мы речь о западноевропейской городской цивилизации – наибольшее значение для Новгорода играет знакомство с организацией самоуправления и всем духом ближайших, а иногда и более отдаленных немецких городов соседней Ливонии или Ганзы⁶⁵. Заговорим ли об обмене товарами, будь то французские вина или новгородские меха – опять-таки между обеими странами встает мощный посредник в лице Ганзы.

Обратим ли внимание на перенос в Новгород форм западноевропейской готики – ее образцом может служить хотя бы так называемая Евфимиева часозвоня, поставленная в пер-

⁶⁴ К сказанному нужно добавить, что круг теорий, объясняющих возникновение такого уникального феномена, как западный город, на деле гораздо шире, а перечень факторов, оказавших влияние на его возникновение и рост, постоянно пополняется.

⁶⁵ Нужно отметить, что оба влияния могли и пересекаться, в силу того факта, что некоторые крупные ливонские города принадлежали одновременно также к Ганзейскому торговому союзу.

вой половине XV века, уже на излете новгородской независимости, в самом центре великого города, на территории новгородского кремля – опять-таки видим⁶⁶ ее запоздалый образец, перенесенный к нам рукой крепкого, однако не самого образованного и смелого в художественном отношении, скорее провинциального немецкого мастера. Напомним, что готический стиль был в основных чертах выработан в XIII веке на территории северной Франции, в силу чего еще долго носил образное наименование «французского стиля».

Одним словом, куда ни кинь – всюду одни опосредованные, косвенные воздействия. Тем большую ценность для потомства представляют редкие случаи непосредственных контактов новгородцев с выходцами из французских земель. К числу таковых принадлежал визит рыцаря Гильбера де Ланноа, которому довелось посетить Новгород Великий на излете его независимости – а именно, зимой 1413 года.

Французский – точнее, бургундский – рыцарь де Ланноа по складу своей личности был типичным членом великого движения крестоносцев, которое долгие годы одушевляло духовную жизнь Западной Европы. Он был набожен и отважен, воинствен и скромен, любознателен и предприимчив. Частично по поручениям своих покровителей – а впрочем, и для удовлетворения собственного любопытства – рыцарь Гильбер объехал немало стран, от Шотландии до Палестины. В Ливонию он прибыл в связи с намечавшимся походом на польские земли, в котором ему не терпелось принять участие.

Пока местные рыцари медлили с выступлением, бургундец решил не терять времени даром и съездить за русскую границу, благо до Новгорода и Пскова было рукой подать. Запасшись рекомендательным письмом от магистра Ливонского ордена, он выехал на север, минул Нарву, там повернул на юго-восток и по прошествии нескольких дней благополучно прибыл в Новгород. Местные власти оказали ему самый теплый прием и ознакомили как с образом правления, так и с обычаями столицы своей земли.

Вскоре отбыв восвояси, смелый бургундец отнюдь не забыл виденного. Более того, на основании своих воспоминаний и записок он составил беглый, но удивительно емкий отчет о пребывании в Новгороде и Пскове, который вошел в состав его написанных на старофранцузском языке записок, получивших заглавие «Путешествия и посольства». Опубликованные посмертно, они привлекли интерес западной, в первую очередь французской читающей публики и, в частности, представили собой едва ли не «первые известные нам зарисовки Руси, выполненные западноевропейцем»⁶⁷.

Намеченная скуными штрихами, но оттого еще более интригующая картина огромного восточного города, расположенного «...в окружении огромных лесов, в низине, среди вод и болот», перерезанного надвое широкой рекой и изобиловавшего всеми богатствами и чудесами востока, поразила воображение современников – а кстати, и предвосхитила первые описания Петербурга, выполненные заезжими французскими путешественниками через три сотни лет.

Мы же отметим, что термину «Великая Русь» или «Великороссия»⁶⁸, попавшему в текст Г. Де Ланноа скорее всего под влиянием речи его высокопоставленных новгородских собеседников, суждена была долгая жизнь в западной геополитике. Точнее сказать, в употреблении этого термина у Ланноа не было полной определенности. В одном варианте текста его воспоминаний, таковой прилагался лишь к новгородским землям, в другом же он распространялся на владения «короля Московского».

⁶⁶ Точнее, могли видеть – первоначальная башня обрушилась спустя двести лет после возведения, и была позже воссоздана с известными отклонениями от оригинала.

⁶⁷ Кудрявцев О. Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое западное описание Руси // Родина, 2003, №12, с.77 (цитаты из мемуаров рыцаря, приведенные далее в тексте настоящего раздела, сделаны по тексту указанной публикации).

⁶⁸ Возможны оба приведенных варианта перевода (в тексте Гильбера де Ланноа стоит «la grant Russie»).

Тем более обоснованным представляется вывод современных историков ранних русско-французских контактов, которые рассматривают его на правах не столько географического определения, сколько «геополитической деноминации»⁶⁹.

⁶⁹ Кудрявцев О. Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое западное описание Руси // Родина, 2003, №12, с.76-77.

Стригольники и альбигойцы

Сближение двух понятий, поставленных в заголовке этого раздела, может на первый взгляд показаться искусственным. Действительно, что может объединять сторонников мистического учения, широко распространившегося в южной Франции во второй половине XII столетия с новгородско-псковской ересью, потрясшей русское общество в середине XIV века? Между тем, точек сближения немало – прежде всего по части структурного сходства.

В первую очередь, альбигойцы решительно отвергали официальную церковь с ее догматами, таинствами и иерархией. Многие из них останавливались на этом шаге, видя оправданным сохранение дешевой – или, как говорили тогда, «бедной апостольской церкви», священнослужителям которой подобал строгий аскетизм. Примерно по этой границе прошло идеологическое размежевание между вальденсами и катарами⁷⁰.

Последние зашли значительно дальше. Они проповедовали существование в мире двух равноправных начал – зла и добра, то есть исповедовали тот стиль мысли, который получил в философии наименование радикального дуализма. В его рамках, мир виделся южнофранцузским еретикам как сотворенный дьяволом и безнадежно преданный злу. «Чистым»⁷¹ оставалось читать Евангелие, перетолкованное в новом, «духовном» смысле, внимать наставлениям ересиархов, создавших собственную церковь – и готовиться к конечной битве сил зла и добра, в которой сторонникам последнего суждено разорвать наконец цепи, привязывавшие их души к ненавистному физическому миру, и перейти навсегда в «царство света».

В свою очередь, стригольники подвергали решительной критике официальную церковь своей страны, и в первую очередь – укоренившуюся в ней практику «поставления по мзде», то есть рукоположения за деньги. Отвергали они также многие церковные обряды и таинства. В полемической литературе того времени отмечены и следы более радикальных практик – к примеру, «покаяния земле» – за которыми, по всей видимости, стояли старинные, может статься, языческие еще космогонические представления.

В исторической литературе высказано мнение, что потаенное существование стригольничества началось значительно раньше указанной нами даты – а именно, в конце XII века. Вышло же оно на поверхность через полтора века лишь под влиянием внешних обстоятельств, в первую голову – эпидемии чумы. Соображение это весьма интересно, поскольку сближает во времени появление в разных концах Европы невиданных прежде того, но весьма между собой схожих мистических доктрин.

Разнообразие источников обоих еретических движений не подлежит сомнению – так же, как значительное влияние, которое каждое из них испытало со стороны богомилства. Такое название носило еще одно мощное мистическое движение, обнаружившееся в X столетии у болгар. После всего сказанного выше, нам не понадобится много слов для того, чтобы коротко очертить его вероисповедные основания. Для этого снова нужно будет сказать об отказе от догматов, таинств и икон господствующей церкви, об отрицании ее иерархии, равно как и всяких земных установлений и служений.

По мере посвящения в учение богомилов, адепт обретал узнавал и о еще более страшной тайне, лежавшей в основе их дуалистического учения. Ему сообщали, что мир был сотворен и населен злым духом Сатанаилом, который княжит в нем по сей день. Телом все мы покамест принадлежим ему – но духом относимся к миру вечной жизни и света, где царит добрый бог.

⁷⁰ Естественно, мы значительно огрубили для целей настоящего изложения тонкие вероисповедные различия между учениями обеих сект, менявшимися к тому же во времени.

⁷¹ Именно так переводится с греческого самоназвание «катары».

В конце времен, он снова пошлет долу свое Слово – затем, чтобы окончательно освободить «чистых»...

Источников, по которым проводится восстановление учения богомилов, сохранилось немного – в первую очередь, почитавшаяся ими «Тайная книга», а кроме нее, отдельные фрагменты полемической «Беседы на новоявившуюся ересь» Козмы Пресвитера.

Что же касалось путей распространения этой ереси, то они в общих чертах прослежены к настоящему времени. Следуя торговым путям вдоль северных берегов Средиземного моря, безвестные богомильские проповедники достигли Боснии, перебрались оттуда в северную Италию – и, наконец, достигли к XII столетию Прованса и Лангедока. Другой древний путь вел вдоль западного побережья Черного моря и далее вверх по Днепру, в русские земли, вплоть до Волхова и «озера Нево». Богомилы не замедлили воспользоваться и этим путем – тем более, что здесь им благоприятствовала общность литературного языка и психологического склада, объединявшая южных и восточных славян.

Как следствие, положение об исторической преемственности по отношению к богомильству, присущее южнофранцузскому альбигойству с одной стороны, и северно-русскому стригольничеству с другой, приобрело в современной науке достаточно сторонников, чтобы найти себе место в текстах не только дискуссионных статей, но и учебных пособий⁷². Перечисление параллелей в развитии и структуре обоих еретических движений может быть продлено вплоть до их трагического конца и «посмертного существования».

Альбигойство укоренилось в Провансе с удивительной быстротой и прочностью именно потому, что вполне соответствовало свободному духовному складу жителей французского Юга и давало религиозное выражение их стремлению отгородиться от сурового Севера. В силу причин этого свойства, папа римский не мог надеяться на то, что его нунции при поддержке местных властей смогут в сжатые сроки сломать хребет альбигойцам.

Пришлось объявлять крестовый поход против еретиков, находить политические силы, заинтересованные в крушении графства Тулузского. Таковые нашлись в лице феодалов северной Франции – грубых, жестоких, однакоже твердых в вере и, более того, давно завидовавших богатству французского Юга. В 1209 году войско северян во главе с Филиппом II Августом начало поход против еретиков.

Так началась эпоха “альбигойских войн”, занявшая несколько десятилетий французской истории. Результатом ее было уничтожение не только альбигойского движения, но и южнофранцузской цивилизации как таковой – целого мира с собственным (провансальским) языком, богатой (трубадурской) литературой и экономикой, процветавшей в свое время. Тулуза и Монпелье остались на карте мира – но лишь как провинциальные города жестко централизованного французского государства.

В свою очередь, учение стригольников было лишь одним из выражений подлинной религиозной вольницы, установившейся на Новгородской земле и представлявшей несомненный контраст московскому благочестию, крепчавшему год от года. Вот почему своевременные и, надо сказать, суровые меры, принятые местными церковными властями против ересиархов – основатель движения, диакон Карп был казнен в Новгороде и свергнут с моста в Волхов в 1375 году – были восприняты в Москве как совершенно недостаточные.

Что именно в образе жизни и психологическом складе новгородцев раздражало московских князей и бояр – дело вполне очевидное. Достаточно обратиться к тексту знаменитой Степенной книги, завершенной в середине XVI столетия при дворе царя Ивана Грозного – то есть, как сейчас говорят, “отражавшей официальную точку зрения Кремля”. В нее включено краткое известие о так называемом “пророчестве Михаила Клопского”.

⁷² См.: История средних веков / Ред. Н. Ф. Колесников. М., 1980, с. 337–338; Замалеев А. Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI–XVI вв.). Л., 1987, с. 190–191.

Сей “инок свят от вельможьска роду” подвизался в Клопском монастыре еще независимого Новгорода. Прознав о рождении Ивана III, инок ударил в колокола, собрал мужей новгородских и прорек им, что новый царь «гордыню вашу упразднит и во всю свою волю привлечет вас и все ваше самовластие разрушит и самовольная ваша обычая изменит», помимо же того «богатство ваше и села ваша восприимет».

История, как известно, пошла именно этим путем. Московские государи ходили на Новгород, грабили, выселяли и избивали местное население до тех пор, пока не поставили его на колени. «Новгородская цивилизация» пошла на дно, как град Китеж, унеся с собой древний, вполне самостоятельный язык и оригинальную литературу, своеобразный уклад хозяйственной жизни и традиции «вечевой демократии». После походов Ивана III, не говоря уже о погромах, предпринятых там опричниками Ивана IV, Новгород утратил свое древнее достоинство, став тихим провинциальным городом централизованного Московского царства.

Исчезновение это не было, впрочем, бесповоротным: то, что сейчас получило название “зачисток”, проходило как правило, с большим трудом в старину в наших глухих местах. К примеру, исследователи русского фольклора полагают, что первоисточниками значительной части так называемых “духовных стихов” у нас были евангельские сюжеты, более или менее переосмысленные в среде самих болгарских богомилов⁷³, либо же их русских последователей и преемников.

Между тем, общеизвестно то почетное место, которое принадлежало “духовным стихам” в русском фольклоре. Их воздействие без всякого труда можно на всем протяжении отечественной литературной традиции послепетровского времени, вплоть до романа “Петербург”, написанного Андреем Белым уже в предреволюционные годы.

Заметим, что через посредство фольклора русских крестьян эти сюжеты и образы переходили в демонологию и их ближайших инокультурных соседей. Так, специалисты в области карельской фольклорной традиции указывают на переосмысление образа богини Сюоятар, создавшей болотные кочки, мошкару и другие неплохо знакомые современному петербуржцу приметы наших северных болот, под влиянием богомильских по происхождению мотивов. Примеры этого рода легко умножить⁷⁴.

В южнофранцузской среде также сложилась “золотая легенда” о последнем бое альбигойцев, оборонявших крепость Монсегюр и о “четырех посвященных” которым удалось накануне ее падения скрыться секретным ходом, унося с собой величайшие святыни катаров. Имена бежавших мистагогов стали известны преследователям – их звали Гюго, Эмвель, Экар, Кламен – но священные тексты или предметы культа, в числе которых, согласно некоторым источникам, был и священный Грааль, никогда не попали в руки католиков.

Как следствие, нельзя исключить латентного воздействия альбигойской традиции на французский мистицизм последующих веков, так же, как и прийти мимо попыток возродить их духовность, предпринятых уже в новое и новейшее время.

⁷³ См.: Замалеев А.Ф., Очинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской духовности. Л., 1991, с.48.

⁷⁴ Подробнее см.: Фольклористика Карелии // Ред.А.П.Разумова. Петрозаводск, 1980, с.54-55.

Гугеноты и старообрядцы

Психологический строй правящих кругов Московской Руси, равно как и их подданных, существенно отличался от духовного склада новгородцев: “ушкуйным вольностям” были противопоставлены духовное трезвение и ограничение кругозора набором стереотипов и ценностей, отобранных и сведенных в систему идеологами нового, не последнего в нашей истории “затворенного царства”.

При всем том, иностранцы на Русь приезжали во все возраставшем числе. Но то были не те иноземцы, которые нам в данном случае интересны. Западные архитекторы возвели для Ивана III впечатляющий ансамбль укреплений, палат и соборов московского Кремля. Но это были в подавляющем большинстве итальянцы. Читателю памятни их имена – Аристотель Фиоравенти, Антон Фрязин и прочие.

Западные военные инженеры оказали Ивану IV значительную, а согласно оценке некоторых историков – едва ли не решающую помощь при взятии Казани. Но то были выходцы из немецких земель. В Немецкой слободе, сложившейся на берегу Яузы, решительно преобладали выходцы и протестантских стран северной и центральной Европы, в первую очередь – из немецких земель, а общепринятым разговорным языком был, несомненно, немецкий⁷⁵.

В 1553 году началась новая, третья по счету эпоха непосредственных и постоянных торговых сношений Русского государства с западными купцами (первой условно считается эпоха транзитной торговли по пути «из варяг в греки», второй – период оживленных сношений Новгородской Руси с участниками Ганзейского торгового союза). Однако и в этом случае честь открытия «северного торгового пути» по Белому морю и устью Северной Двины, равно как и получение связанных с тем прибылей, принадлежала британским купцам, к которым позднее присоединились голландцы.

В корпусе изящной словесности «московского периода», в особенности на позднем, предпетровском этапе ее развития, периодически встречались образы и сюжеты из французской истории. К примеру, в корпусе сочинений известного полимата, дидаскала и церковного полемиста Симеона Полоцкого можно найти прелестное маленькое стихотворение «Образ», посвященное проблеме личного примера в деятельности образцового суверена.

В его двух строфах сопоставлены два монарха: Александр Македонский, не погнушавшийся сам взяться за лопату⁷⁶, с тем, чтобы подать пример трудолюбия своим воинам – из древней истории, и французский король Франциск Валуа – из недавней (его правление заняло почти всю первую половину XVI века). Родители короля не были склонны к изучению книжной мудрости и жили “в простоте, на манер варваров”.

Сам же Франциск не последовал их примеру, возлюбил науки и дал тем пример своему народу. В правление этого короля, как мы помним, издали свои лучшие сочинения Клеман Маро и Франсуа Рабле; был, в духовный противовес Сорбонне, основан новый светский университет Парижа – знаменитый Коллеж де Франс.

“И бысть в мале времени мудрость разширенна,
Образом⁷⁷ краля во всей земли умноженна”.

⁷⁵ Мы говорим здесь о так называемой Ново-Немецкой слободе, образованной под Москвой согласно царскому указу 1652 года. Первоначальная же Немецкая слобода сложилась в Москве еще во времена Ивана Грозного.

⁷⁶ Точнее, «за кош», то есть за корзину, в которой таскали землю.

⁷⁷ В данном случае, слово «образ» следует понимать как «пример».

Этот нравоучительный вывод, обращенный в первую очередь к царствующим особам, сделал в своем маленьком шедевре Симеон Полоцкий, сам больше всего в жизни любивший книги и рукописи⁷⁸. Призыв к царям подавать пример подданным не остался, кстати, без ответа в следующем поколении русской элиты. Известно, что к числу учеников Симеона принадлежал и малолетний наследник престола, по имени Петр Алексеевич.

Однако и этот образ французского короля, по-своему привлекательный⁷⁹, был, по всей видимости, заимствован из какой-либо антологии на русском языке, из числа тех, что в изобилии обращались в среде отечественных книжечеев того времени. В таком случае, вероятность того, что исторический анекдот, обработанный Симеоном средствами силлабического стиха, был переведен с французского языка прямо на русский, следует полагать несущественной.

Занимаясь проблемой литературного перевода в XVII веке, маститый отечественный литературовед, академик А.И. Соболевский пришел в свое время к выводу, что основная масса переводов на русский язык делалась тогда с латинского. Кроме него, немало переводов делалось с польского. Далее с заметным отрывом шли немецкий и голландский. «Переводов с других языков Западной Европы мы не знаем, хотя в числе наших приказных переводчиков были люди, владевшие французским и английским языками», – подчеркивал маститый исследователь в своей монографии, выпущенной ровно сто лет назад⁸⁰.

Современные историки русской книжности в общем вполне согласны с этим выводом. Задавшись вопросом, какие западноевропейские сочинения, содержавшие информацию о культурной и политической жизни Франции, были в первую очередь доступны образованному русскому читателю «московского периода», после внимательного пересмотра первоисточников, В.Ф. Пустарнаков пришел недавно к общему заключению, что, «пожалуй, единственным солидным источником сведений об этой далекой стране служил вышедший в 1584 г. русский перевод «Космографии» (1554) поляка Йохима Бельского, в которой был раздел «О Галлии, или Франции». В третьей, русской редакции «Космографии» можно было уже кое-что узнать о Франции и даже о французской Академии»⁸¹.

Положение не изменилось качественно и в следующем столетии, хотя при династии Романовых отечественный читатель смог ознакомиться, скажем, с переводом луллиевой «Великой науки»⁸², способной кое в чем дополнить его знания об интеллектуальной жизни французского королевства.

К какой области духовной или материальной культуры мы бы ни обратились – положение будет в принципе очень похожим. В этих условиях, нам остается сделать тот вывод, что слабые, косвенные и зачастую запоздалые контакты продолжали преобладать в русско-французских отношениях и «московского периода».

Оговоримся, что применительно к этой, как и к более ранним эпохам, возможности типологического анализа остаются достаточно обширными. В качестве примера можно припомнить о памятных историкам нашего раскола, двенадцати так называемых «карательных статей против старообрядцев», введенных в отечественное законодательство и карательную практику в период правления царевны Софьи, в 1685 году. Как отметил изучавший обстоятельства их принятия и проведения в жизнь А.М. Панченко, эти законы были беспрецедентно суровы по отношению к тем, кого власти считали «злословными еретиками».

⁷⁸ Симеон Полоцкий. Образъ // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М., 1994, с.117.

⁷⁹ В реальности Франциск I был весьма крут и жесток. Как помнят историки, ему довелось провести ряд непопулярных мер, направленных на укрепление абсолютной монархии во Франции.

⁸⁰ Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв. СПб, 1903, с.50.

⁸¹ Пустарнаков В.Ф. Предыстория русско-французских культурных взаимосвязей // Историко-философский ежегодник '2000. М., 2002, с.336.

⁸² Собственно, "Artis magnae generalis et ultimae".

При этом петербургский академик обратил также внимание на то, что год, в который они были приняты в Москве, отмечен был пиком преследования иноверцев и на другом конце европейского континента. Именно в 1685 году, французский король Людовик XIV нашел своевременным окончательно отменить⁸³ на территории своего королевства действие положений так называемого Нантского эдикта о веротерпимости, предоставлявшего защиту гугенотам (то есть сторонникам французского кальвинизма).

Соответственно, массы озлобленных иноверцев бросились из родной Франции в эмиграцию, навсегда лишая ее своих рук и умов. Россия была, как мы помним, также очень ослаблена бегством старообрядцев в глухие места.

Самое любопытное состоит в том, что в плане обеих репрессивных кампаний прослеживается влияние одного мозгового центра, а именно ордена иезуитов. Влияние их при версальском дворе «короля-солнце» не подлежит сомнению. Что же касалось московских «коридоров власти», то в них тогда взяли большую силу «латинофроны» – церковные деятели малороссийского происхождения, бывшие почти поголовно выучениками иезуитов. В том же, 1685 году, под их преимущественным влиянием, правительство Софьи издало указ, открывший иезуитам доступ на Русь⁸⁴.

Еще один, взятый почти произвольно пример, касается деятельности знаменитого архиепископа Геннадия (Гон(о)зова), поставленного в 1484 году на новгородскую кафедру с тем, чтобы «подморозить» на московский манер сердца и души своей недавно утратившей независимость паствы. Размышляя о путях решения своей непростой задачи, владыка пришел к выводу, что ничего лучше учреждения инквизиции, доказавшей уже свою эффективность на территории Западной Европы с конца XII столетия, просто и быть не может.

Подытожив свои ценные соображения, новгородский архиепископ оформил их в виде грамоты, известной историкам под заглавием «Речи посла цесарева», отослал их в Москву и был несколько обижен тем недостаточным эффектом, который они произвели при дворе Ивана III. Размышляя над тем, какими могли быть источники ознакомления архиепископа Геннадия с опытом его католических коллег, историки указывают, помимо иных, на переводы и рассказы некоего «попа Вениамина», входившего в состав «ученой дружины» – так сказать, референтов и консультантов – владыки⁸⁵.

Упомянутый Вениамин был «родом словянинин, а верою латынянин», более того – «мних обители святого Доминика», то есть член ордена доминиканцев. Образованный в 1216 году – в непосредственной, кстати, связи с «альбигойскими войнами» – этот орден действительно прославился не только ученостью своих членов (из него вышли такие столпы католической теологии, как Альберт Великий и Фома Аквинский), но и тем, что неукоснительно снабжал кадрами трибуналы инквизиции. Шире всего развернувший эту последнюю деятельность в странах южной Европы – в первую очередь, в Испании – орден доминиканцев был хорошо известен и даже укоренен во Франции.

Параллели такого рода, нечастые, однако отнюдь и не единичные, прослеживаются на всем протяжении «московского периода» русской истории. Более того, в некоторых случаях они имели непосредственное отношение к оформлению религиозно-психологических доминант своей эпохи. Представляется весьма показательным, что нередко они были обусловлены не только структурным сходством в развитии обеих держав, но и заимствованиями из общих источников.

⁸³ Эдикт был частично отменен во Франции еще в 1629 году.

⁸⁴ Подробнее см.: Панченко А.М. Юродивые на Руси. Петр I и веротерпимость // Азъ, 1990, N 1, с.21-24.

⁸⁵ Подробнее о нем см.: Лурье Я.С. Вениамин // Словарь книжников и книжности древней Руси. Вып.2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч.1. Л., 1988, с.133-135.

Отметив наличие структурного сходства, нельзя забывать и о том факте, что никакой ненависти по отношению к французским протестантам московские власти не испытывали. Более того, когда волна гугенотов докатилась до прусских земель, у многих из них возникло желание ехать еще дальше и попытать счастья во владениях царя московского. Известно, что в 1688 году прусская дипломатия поднимала этот вопрос в ходе переговоров с русскими представителями и по прошествии известного времени получила от них вполне благоприятный ответ.

На основании этого разрешения, французские гугеноты вскоре появились на Руси и стали вливаться в состав населения Немецкой слободы практически с первых лет правления Петра I. С началом Северной войны, многие из них последовали за русскими войсками и, не дожидаясь формального заключения мира, стали обустраивать себе жизнь на территории новооснованного Санкт-Питер-Бурха. Опираясь на факты этого рода, историки раннего Петербурга пришли к выводу, что первоначальное французское население нашего города было по преимуществу протестантским, к тому же покинувшим Францию вполне сознательно⁸⁶.

Что же касалось французских католиков, то они стали в массе своей прибывать на невские берега несколько позже – а именно в свите французского архитектора Ж.-Б.Леблона, или же после визита царя Петра во Францию, то есть начиная примерно с 1716-1717 годов. Психологический настрой этих иммигрантов был совсем иным – они подданными французского короля и вовсе не торопились рвать связь с далекой родиной.

⁸⁶ Подробнее см.: Ржеуцкий В. Французская колония в Санкт-Петербурге в XVIII веке // Французы в Петербурге. Каталог выставки. СПб, 2003, с.71.

Род Делагарди: из Лангедока в Ингерманландию

Приневские земли были окончательно присоединены к Москве в составе Водской пятины Великого Новгорода к концу XV века. Как следствие, общие закономерности, кратко описанные только что на примере крупных центров русского государства, вполне применимы и к этой далекой, богом забытой периферии. Сформулировав это положение и остановившись на некоторое время с тем, чтобы сделать необходимые оговорки и дополнения, нам оставалось бы лишь обратиться к эпохе Петра Великого – и призвать читателя последовать за нами.

Сделав так, мы поступили бы опрометчиво – по той простой причине, что практически всю вторую половину «московского периода» российской истории наши края принадлежали входили в состав шведского королевства и, соответственно, развивались в принципиально ином культурном пространстве. Действительно, Ингерманландия перешла под власть шведской короны согласно Столбовскому миру 1617 года и формально принадлежала ей более ста лет, вплоть до Ништадтского мира 1721 года⁸⁷.

Впрочем, и прежде того времени, в наших местах доводилось распоряжаться шведской администрации. К примеру, на заключительном этапе Ливонской войны между русскими и шведами было заключено перемирие, согласно условиям коего последние удержали за собой земли, примыкавшие к Финскому заливу, не исключая и приневской низменности. Лишь в 1595 году, при заключении Тявзинского трактата, царским дипломатам удалось формально вернуть их – как мы уже знаем, совсем ненадолго.

Какие же образы и сюжеты всплывут перед нашим мысленным взором, когда мы обратим его к вошедшей в эпоху великодержавия-«стурмакта» суровой северной державе – скандинавской по языку, протестантской по вере, прочно связанной узами экономики с голландской торгашеской цивилизацией? Стоит задать себе этот вопрос – и лица представителей шведского аристократического рода Делагарди предстают перед нашими глазами.

Оговоримся, что шведским он стал лишь с течением времени – точнее сказать, по ходу интриг, проведенных его представителями при стокгольмском дворе и военных побед, одержанных ими на землях, которые, в частности, примыкали и к Финскому заливу. Первоначально же он представлял собою не более чем ответвление южнофранцузского рода д'Эскуперы, внесенного в списки дворян Лангедока не позднее XIII столетия и снискавшего немалую славу на службе у королей Франции.

Первым фамилию “de la Gardie” – по имени своего родового замка во Франции – принял представитель этого рода, по имени Понтус, избравший карьеру наемника и вояки. Начал он с того, что воевал на стороне датского короля против шведов, был взят ими в плен в 1565 году, сразу же предложил свои услуги победителям и заслужил постепенно их полное доверие искренней преданностью.

С 1580 года он весьма успешно воевал против царских воевод в Ливонии и был возведен в должность штатгальтера (наместника) Лифляндии и Эстляндии. В качестве представителя шведской короны, Понтус Делагарди подписал с русскими Плюсское перемирие 1583 года, согласно которому, как мы знаем, приневские земли попали на время под шведское управление. В архивах сохранились некоторые косвенные данные, подводящие к мысли, что уже этот военачальник и администратор мог думать об основании крепости в устье Невы.

Сын Понтуса – Жак (точнее, конечно, уже Якоб) – был наполовину шведом. Более того, в его жилах текла королевская кровь (поскольку мать Якоба была, как все знали, незаконной

⁸⁷ Фактическое возвращение наших земель в состав русского государства произошло, как помнит читатель, значительно раньше. Со взятием Нотебурга (1702) и Ниеншанца (1703) все течение Невы перешло под контроль царских войск, что и создало необходимые предпосылки для заложения крепости Санкт-Питер-бурх.

дочерью шведского короля Юхана III). В целом же, он был местным до той степени, до какой это было возможно для шведского вельможи того времени: родился в Ревеле, воевал в Ливонии и Новогардии⁸⁸ – более того, в возрасте 25 лет (1608) возглавил шведское войско, активно вмешавшееся в русскую Смуту.

Проведя несколько лет на русских землях, барон (а с 1615 года – граф) Якоб Делагарди – или, как его у нас называли, «Делегард Яков Пунтусов» – не раз задумывался о путях устройства русского Северо-Запада, которое навсегда обезопасило бы шведов с этой стороны, более того – приносило бы не расходы, но стабильные поступления в бюджет (в отличие от отца, граф был по характеру не воин, но администратор и финансист). Одним из его планов не довелось осуществиться. К ним относилось образование буферного, шведского по династии и культуре, но преимущественно русского по населению, «Новгородского королевства».

Другой план был проведен с успехом. Мы говорим, разумеется, о заложении в устье Невы крепости Ниеншанц, трехсотлетие которого нам предстоит отмечать в следующем десятилетии. Рискую заслужить новые упреки петербургских краеведов⁸⁹, мы должны еще раз отметить, что промежуток между разрушением Ниеншанца и заложением Санкт-Петербурга не был существенным ни во времени, ни в пространстве, в силу чего у нашего города был, можно сказать, «период внутриутробного развития», о котором некорректно было бы забывать.

Причастен был граф и к заключению Столбовского мира, почти на столетие включившего наши земли в состав Шведского королевства, на правах «провинции Ингерманландия»⁹⁰. Итак, если бы жители Ниена захотели поставить на стрелке Охты памятник основателю и гению-покровителю этого места – так сказать, «шведского Медного всадника» – им, безусловно, пришлось бы придать лику героя черты Якоба Делагарди – представителя рода, ставшего уже шведско-французским.

Третьему из Делагарди, графу Магнусу Габриэлю, довелось во второй половине XVII века поочередно занять ряд высоких постов в управлении прибалтийскими провинциями, а потом и всем шведско-финляндским королевством. Как следствие, по долгу службы ему пришлось продумывать и предпринимать многочисленные административные меры, касавшиеся положения как Ниена, так и Ингерманландии в целом.

Как известно, провинция эта была довольно бедна – не в последнюю очередь в силу того, что принуждена была отправлять в шведскую столицу большую часть своих доходов. Вместе с тем, в годы, когда управлением занимался граф Магнус Делагарди, дела Ниена пошли в гору и, при условии привлечения серьезных инвесторов, он имел все шансы вырасти в крупный балтийский центр. Шанс этот по разным причинам не был, как мы знаем, использован, что и обусловило в конечном счете падение крепости – и переход в руки дальновидного и решительного царя, который вложил в его развитие все силы ума и сердца, не говоря уж о жизнях своих подданных.

Укореняя свой род в северной почве все глубже и прививая его поколение за поколением к стволу шведского королевского дома, первые Делагарди не забывали о старой отчизне и сохраняли душевную привязанность к ней. Надо сказать, что это было немудрено, если учесть высокий авторитет, которым французская культура пользовалась в Европе тех лет.

С 1640-х годов, Стокгольм был украшался рядом великолепных зданий, построенных в стиле так называемого франко-голландского Ренессанса. Многие из них сохранились и по сей день – например, знаменитый Рыцарский дом, поставленный в сердце Стокгольма Симоном де ла Валле. На стенах парадных помещений Дома выставлены гербы всех дворянских родов

⁸⁸ Заимствуем географическое название новгородских земель (“Nowogardia Mag(na)”) с ландкарты Московии Сигизмунда Герберштейна (1549), известной и шведам.

⁸⁹ А они, надо сказать, уже начались применительно к более ранним публикациям автора на данную тему. См., например: Смирнов С.Б. Петербург-Москва: сумма истории. СПб, 2000, с.239.

⁹⁰ По-шведски “*landskap Ingermanland*”.

Швеции, не исключая прославившихся в период «стурмакта» на территории Ингерманландии и «Кексгольмского лена»⁹¹.

Представителям рода Делагарди доводилось ввозить в Швецию целые династии французских архитекторов и строителей. Впрочем, были и случаи, когда галломания этих магнатов переходила, по мнению современников, за грань невинного «поощрения художеств». В частности, ими высказывались подозрения, что крайне невыгодная для шведского королевства политика, проводившаяся одно время по указанию Магнуса Делагарди, была хорошо оплачена французскими ливрами. Современные историки подтверждают тот прискорбный факт, что граф был, по всей видимости, просто подкуплен французскими дипломатами – хотя в конце концов все равно умер, почти разоренный...

Как бы то ни было, род Делагарди продолжается в Швеции по сей день. Притом пика величия он достиг лишь при жизни трех его первых представителей – то есть до тех пор, заметим мы про себя, пока они были причастны к устройению приневских земель. Положительно, за пестрой чередой свадеб, битв и финансовых спекуляций, приведших блестящих представителей старинного южнофранцузского рода на топкие, холодные берега Невы, прослеживается легкое, но уверенное движение руки Провидения. Валлонские строители шведского великодержавия

Здание шведского «стурмакта» было заложено с несомненным размахом. После присоединения Ингерманландии и Кексгольмского лена, земли западной, северной и восточной Прибалтики до города Риги перешли под руку шведского короля. В общеевропейской Тридцатилетней войне (1618-1648), шведы преследовали и более масштабные цели, в первую очередь раздел Польши и установление протектората над германскими княжествами.

Как известно, воплотить эти планы в жизнь не удалось, а сам Густав II Адольф погиб в битве при Люцене в 1632 году. Тем не менее, по Вестфальскому миру (1648) Швеция присоединила обширные владения на севере Германии, прежде всего Померанию и остров Рюген. Более того, по результатам войны она вне сомнения присоединилась к «клубу великих держав», диктовавших условия политической игры в тогдашней Европе, а значит – и в мире.

Хозяева здания шведского «стурмакта» нам хорошо известны. Это – короли из династии Ваза, начиная со знаменитого Густава II Адольфа. Он, кстати, рассматривался в Смутное время в качестве возможного кандидата на московский трон – а может быть, и трон буферного «Новгородского королевства», буде таковое удалось бы создать⁹². В юные годы ему, кстати, довелось встречать Рождество в новооснованном Ниеншанце и смотреть с его валов на хорошо знакомый нам пейзаж Невы близ слияния ее вод с Охтой...

Рядом с хозяевами легко различить и фигуры их приближенных – в первую очередь, славного канцлера Акселя Оксеншерна и знакомых нам уже воинов из французского рода Делагарди. За ними, в дальних покоях, на нижних этажах, а также и в подвалах – многие тысячи шведских дворян, купцов и многих других, не исключая свободных крестьян, вынесших на своих спинах тяжесть возведения здания великодержавного государства.

Что же касалось фундамента, то решающее участие в его построении приняли люди, специально для того прибывшие в Швецию из-за моря и зачастую даже не знавшие шведского языка. Мы говорим о валлонах, создавших военно-промышленный комплекс, который в конечном счете составил прочное основание всех шведских успехов в XVII веке.

Валлонами в наши дни называют подданных бельгийского короля, которые говорят на французском языке (в отличие от фламандцев, которые говорят по-голландски⁹³). В ту пору никакой еще Бельгии на карте Европы не существовало, а была южная часть Нидерландов,

⁹¹ В состав этого лена были включены земли северного Приладожья. Имя Кексгольма носил теперешний Приозерск.

⁹² Нужно оговориться, что у его младшего брата, герцога Карла Филиппа, шансы были, пожалуй, повыше.

⁹³ Точнее, на местном, фламандском диалекте нидерландского (голландского) языка.

которая после неудачной попытки освободиться была растерзана иноземными войсками, разорена и осталась под скипетром королей Испании.

Не будучи подданными французского короля, валлоны принадлежали тем не менее миру французской цивилизации в широком смысле этого слова и потому также служат предметом нашего интереса. Было бы вообще ошибкой забывать, что франкофоны – носители французского языка и элементов культурной традиции “французского мира” издавна расселились не только во Франции, но также и в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии. Факт этот тем более существен, что выходцы из названных стран прибыли на берега Невы еще во времена Петра I и внесли свой вклад, иной раз совсем немалый, в развитие петербургской культуры...

Впрочем, вернемся к валлонам XVII столетия. Путь в Швецию для них проторили голландцы, близкие им по менталитету и занятиям, которые давно уж прибрали к рукам большую часть промышленности и торговли скандинавского королевства. Прибыв в Швецию и осмотревшись, представители валлонских предпринимателей дали своим знать, что в этой стране для них есть будущее – и валлонское переселение в Швецию началось.

На небольшом расстоянии от шведской столицы лежал округ Бергслеген, где на площади в 15 тысяч квадратных километров располагались месторождения меди, железа, цинка, свинца и так далее – вплоть до золота. Ну, а вокруг шумели исполинские леса – почти даровой источник топлива и строительных материалов. В свою очередь, в районе валлонского Льежа были сосредоточены рабочие-металлурги и инженеры, владевшие самыми современными методами обработки металлов. Оставалось лишь посадить этих специалистов на корабли, доставить их в Швецию и создать им условия для работы.

Именно этим и занялись ведущие деятели валлонского переселения в Швецию – в первую очередь, великий Луи Де Геер, создавший на новой родине то, что историки до сих пор называют «промышленной империей»⁹⁴. О духе тех лет читателю не надо много рассказывать – достаточно будет мысленно подставить на место шведского королевства Россию петровского времени, на место копей Бергслегена поставить уральские рудники и мануфактуры – ну, а на месте Де Геера представить себе, скажем, Демидова. Психологический тип был, в общем, тот же.

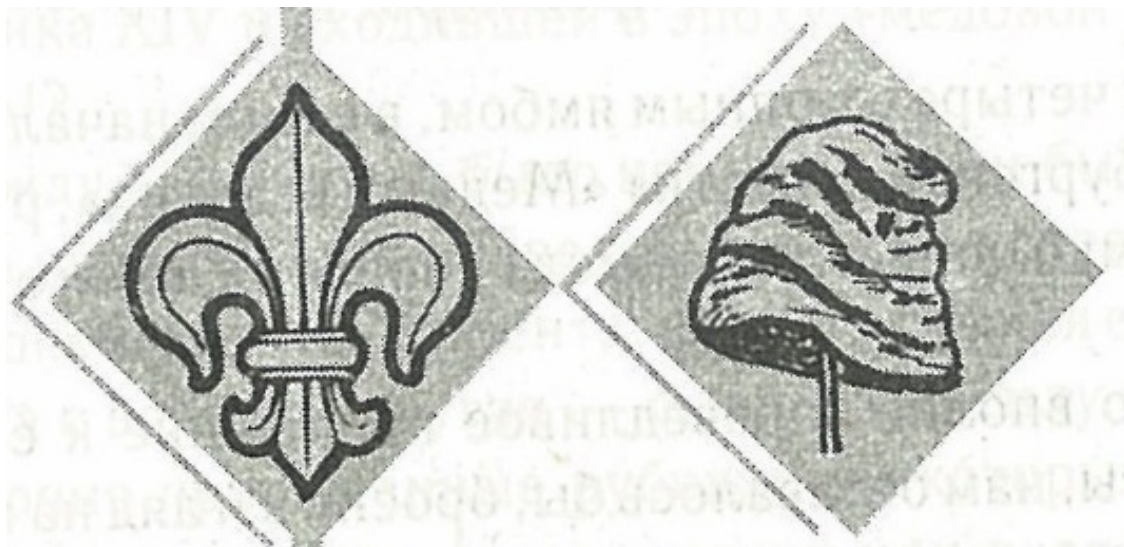
Что же касается итога того порыва, то он очевиден. Иностранные специалисты, и в первую очередь валлонские металлурги, почти на пустом месте создали мощный военно-промышленный комплекс. Его было более чем достаточно для обеспечения любых воинственных планов шведских королей на протяжении всего «века великодержавия». Более того, его продукция была так велика, что большую часть все равно приходилось продавать за границу. Достаточно сказать, что из каждых десяти пушек, произведенных в Швеции в лучшие времена, до 8-9 отправлялось на экспорт, и по достаточно высоким ценам: валлонская работа служила в ту эпоху гарантией безусловного качества⁹⁵.

Вот почему, размышляя о причинах того, что Ингерманландия около ста лет входила в состав шведского государства, а первая большая крепость с торговым городом была основана в устье Невы, практически на месте будущего Санкт-Петербурга, в эпоху шведского великодержавия, мы не должны забывать о деньгах валлонских предпринимателей, знаниях и труде валлонских инженеров и квалифицированных рабочих. Ведь, как ни смотри, но экономика все же определяет политику. А раз так – значит, французская цивилизация пришла на приневские земли задолго до заложения Санкт-Петербурга.

⁹⁴ Åberg A. Vår svenska historia. Stockholm, 1979, s.198.

⁹⁵ Åberg A. Op.cit., s.198 (приведенные данные взяты за период 1655-1662 годов).

Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета



«Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе».

Так, звучным четырехстопным ямбом, в самом начале Вступления к «петербургской повести» «Медный всадник», русский поэт сжато, но емко определил смысл основания нового города в устье Невы.

Применяя это вполне справедливое положение к сюжету настоящей работы, нам оставалось бы, бросив взгляд на географическую карту и мысленно оценив расстояние, разделяющее берега России и Франции, равно как и трудности плавания по тогдашним морям, предположить, что берега Финского залива вскоре увидели бело-синие флаги французских кораблей⁹⁶, а жители новооснованного города коротко познакомились с французскими мореходами и торговцами. Что же касалось до дипломатических отношений, то дистанция, разделявшая два наши государства, была достаточно протяженной для того, чтобы исключить какие-либо взаимные претензии, тем более – вооруженное противостояние. В силу одного этого факта стоило ожидать если не полномасштабного франко-русского союза, то дружественных договоров и протоколов.

Как это ни странно, ничего подобного на самом деле не произошло. Более того – даже через полвека после основания Петербурга, из общего количества примерно пятисот торговых судов, ежегодно доставлявших свои грузы в наш порт, дай Бог если два-три приходили прямо из Франции. В сфере же высокой политики «осмнадцатое столетие» – первый век «петербургской цивилизации» – начавшись с взаимного отчуждения между нашими странами, закон-

⁹⁶ Торговые корабли Франции несли в ту эпоху (а именно, с 1661 года) особый флаг, образованный тремя синими горизонтальными полосами на белом фоне («*правилон des navires de la marine marchande*»).

чилося оживленными приготовлениями к полномасштабному вооруженному столкновению, которому суждено было омрачить, а потом и прославить уже в следующем веке царствие Александра I. В причинах такого несовпадения возможного и реального стоит разобраться подробнее.

Два европейских колосса

Много ли общего могло быть между Россией Петра I, только задумывавшего свои невиданные в наших краях преобразования под гром пушек у стен мало никому не известных в Европе Ниеншанца или Полтавы – и Францией, прошедшей уже, как казалось тогда, зенит своего исторического пути в эпоху Людовика XIV, и входившей в эпоху «медовой зрелости» – “*Siècle des Lumières*”⁹⁷?

Между тем, общего было немало, каким бы невероятным это ни показалось на первый взгляд. Прежде всего, обе страны располагались по разные стороны европейского континента, как бы замыкая его непрерывное пространство, одна с востока, другая – с запада. В силу этого положения, обе располагали достаточно протяженными рубежами, на которых приходилось почти непрерывно воевать – иной раз, на двух или нескольких направлениях сразу. Обе нации вышли из этих войн ценящими независимость и исключительно сплоченными. По степени централизации, с Россией всего «петербургского периода» в Европе могла сравниться лишь Франция⁹⁸.

Обе страны располагали весьма протяженной – пожалуй, даже непомерно большой территорией. Ежели применительно к России наш тезис не нуждается ни в каких пояснениях, то относительно Франции он может показаться неочевидным. Между тем, один из ведущих современных ученых, уже упоминавшийся нами французский историк и географ Фернан Бродель так и озаглавил один из разделов своего многотомного исследования: «Франция – жертва своего огромного пространства»⁹⁹.

Можно ли было сказать лучше, если во времена короля-солнце» путь из Версаля до ближайшего атлантического порта (а именно, Нанта) занимал самое меньшее семь дней – и то, если скакать, не глядя по сторонам и загоня лошадей насмерть, как это делали мушкетеры в известном романе Дюма. Что же касалось пути из Парижа в Марсель, расположенный на южном, средиземноморском побережье Франции, то на него приходилось отводить при хорошей погоде около двух недель. Вообще, Франция была до прихода России самой большой европейской державой как по территории, так и по населению.

Любопытно, что подавляющая часть этого населения, подсознательно ощущая свою принадлежность к великой державе, проживала свои дни в такой изоляции, которую в наши дни уже трудно себе представить. В экономике преобладало земледелие и скотоводство, плоды коих потреблялись по преимуществу тут же, на месте – или, во всяком случае, в пределах провинции. Общефранцузского рынка можно сказать что и не было, так что дальше ближайшего города никто и не выбирался.

Вся жизнь проходила в виду колокольни церкви, знакомой с детства, и в круге людей, не менявшемся десятилетиями. Средний француз из третьего сословия мог бы с полным правом сказать, что отсель хоть неделю скачи – ни до какой заграницы не доскачешь, и он чаще всего был бы вполне прав. Более того, большинство подданных русского царя его очень хорошо поняли бы, если бы только Бог привел им когда-либо встретиться.

⁹⁷ «Эпохи просвещения» (франц.).

⁹⁸ Франция могла со времен Людовика XIV почитаться классическим образцом просвещенного абсолютизма – в том числе, и для Петра Великого.

⁹⁹ Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.3 / Пер. с франц. М., 1993, с.319 (оригинал книги был выпущен в 1979 г.). Разъяснение этого заголовка гласит: «Франция была прежде всего своей собственной жертвой, жертвой плотности своего населения, своего объема, своего гигантизма. Жертвой протяженности, которая, разумеется, имела и свои преимущества: если Франция постоянно противостояла иноземным вторжениям, то все же в силу своей громадности; ее невозможно было пройти всю, нанести ей удар в сердце» (ib., p.330). Как все это похоже на Россию (за исключением разве что плотности населения)!

Нужно учесть и тот факт, что Франция ощущала себя тогда решительно сухопутной державой. Располагая весьма протяженным морским побережьем, не будучи лишена ни кораблей, ни моряков, нация эта была оттеснена от морей – в особенности, морей северных – довольно бесцеремонными и необычайно тогда сильными голландцами и англичанами. Принадлежность к «миру континентальных держав», со всеми их слабыми и сильными сторонами, равно как исконная подозрительность по отношению к вечным соперникам – нациям мореплавателей, «океаническому миру» с тех пор у французов в крови, а скорее всего – в коллективном подсознании, что и составляет глубинную подпочву франко-русских союзов по сей день.

"Кольбертизм" Петра I

Прибегнув выше к фразеологии классической геополитики, мы, разумеется, хорошо помним о том, что со времен ее классика, британского исследователя начала XX века Хэлфорда Маккиндера – к континентальному миру безоговорочно относится лишь Россия. Франции традиционно отводится роль члена «мира морских держав» – хотя, чаще всего, младшего. С некоторыми коррективами, такой тезис находили возможным поддерживать и ведущие французские специалисты в области геополитики, от Поля Видаль де ла Блаш – до Альбера Деманжона¹⁰⁰.

Спорить тут не с чем. Кто же не помнит о храбрых французских мореплавателях, открывших в XVI веке Новую Францию – или Канаду, как ее стали называть позже – бороздивших воды озера Онтарио, рыскавших по просторам Мексиканского залива и поднимавшихся вверх по реке Миссисипи в следующем столетии. Все это так. Но почему же тогда среди задач, вставших во весь рост перед министром¹⁰¹ финансов Людовика XIV, проницательным и энергичным Жаном Батистом Кольбером в число неотложных входили строительство флота, расширение гаваней и возвращение Франции утерянного могущества на морях?

К слову сказать, кольберовские преобразования были на удивление схожи с теми, что составили на полвека позже основное содержание петровских реформ. Помимо названных выше, тут можно назвать и расширение мануфактурного производства, нередко наращиваемого при всемерной помощи государства, и организацию поставленных на широкую ногу торговых компаний – вообще вовлечение отечественных капиталов и рабочих рук в интенсивную, иногда лихорадочную деятельность, направленную на повышение могущества государства, прежде всего – за счет понижения степени его зависимости от импорта из развитых стран.

В свете таких данных вовсе не представляется удивительным, что некоторые отечественные авторы, как говорится, ничтоже сумняшеся, утверждали, что место петровской экономической политики следовало бы по справедливости отнести в фарватере французского «кольбертизма». Обидного в том ничего не было бы – как, впрочем, не было бы и особенно конструктивного.

Как заметил по этому поводу в своих «Публичных чтениях о Петре Великом»¹⁰², подготовленных и прочитанных к двухсотлетней годовщине со дня рождения Петра I, славный отечественный историк С.М.Соловьев, «движение это, как мы видели, так естественно и необходимо, что тут не может быть и мысли о каком-нибудь заимствовании или подражании: Франция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе действовали одинаково по тем же самым побуждениям, по каким два человека, один в Европе, другой в Азии, чтоб погреться, выходят на солнце, а чтоб избежать солнечного жара, ищут тени».

¹⁰⁰ Подробнее см.: Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. М., 2002, с.80-87 (раздел «Особенности французской геополитической мысли»).

¹⁰¹ Собственно говоря, титул Кольбера звучал так: «генеральный контролер».

¹⁰² А именно, в середине «Чтения третьего».

«Восточная политика» Франции

Аргументов в пользу стратегического русско-французского альянса было, таким образом, немало. Что могло помешать двум колоссам, по воле судьбы расположенным один на востоке Европы, другой на ее западе, болевшим одними «болезнями роста» и лечившимся схожими, «кольберовскими» препаратами, договориться – и взяться соединенными силами за ось истории, с тем, чтобы отвести ее от кичливых морских соседей и притянуть не свою сторону?

Если не вопрос, то подсознательная установка такого рода прослеживается в царской дипломатии на протяжении всего XVIII столетия. Ну, а с французской стороны на этот вопрос постоянно слышался то явный, то подразумевавшийся отрицательный совет. Причина такой установки была очень простой: Франция уже давно выбрала себе «великого восточного партнера» и менять его решительно не собиралась. Точнее, партнеров было несколько: Швеция, Польша, Турция.

Согласно условиям военно-политических игр своего времени, кто-то из них на время выбывал из союзных отношений с Францией, кто-то, наоборот, дрейфовал обратно при порыве очередного политического урагана: всякое случалось. Однако, при всех оговорках, Европа для Франции ограничивалась на востоке тремя этими достаточно сильными государствами, с каждым из которых были давно налажены взаимовыгодные и прочные контакты.

Строй этих союзников одновременно и соединял Европу с Востоком, и охранял с его с той, традиционно небезопасной стороны. Французские государи издавна видели знаки, подававшиеся им из-за этого строя сначала из Москвы, а позже и из Петербурга русскими государами, но не испытывали никакого желания изменять ради них принятой однажды стратегической линии.

Еще при короле Генрихе IV один из его министров, славный Максимильен де Сюлли, коротко, но очень решительно заметил в одном официальном документе, что русские – это народ варварский, принадлежат они более Азии, чем Европе, поэтому в интересах всех цивилизованных наций следовало бы оттеснить русских подальше в Азию, лишив их во всяком случае владений в Восточной Европе – для общего блага, разумеется¹⁰³. На эти владения Франция и не думала претендовать, предназначая их тем же Швеции, Польше и Турции. Вот, собственно, и вся геополитическая стратегия.

Повидимому, Петр Великий не знал об этом высказывании Сюлли, когда, под конец уже жизни, заметил в минуту печали, что дожил уже до своих Тюреннов, а вот Сюллиев у него пока нет¹⁰⁴. Впрочем, если и знал бы, это мало что изменило бы. Одно дело – финансовый гений, другое – политическая недалёковидность. Между тем, с этой недалёковидностью и Петру I, и его преемникам на петербургском престоле довелось постоянно сталкиваться.

¹⁰³ Подробнее см.: Грюнвальд К. Франко-русские союзы. М., 1962, с. 17.

¹⁰⁴ Анри де Тюренн был известнейшим полководцем времен короля Людовика XIV; Сюллием могли у нас называть, на латинский манер, Максимильена де Сюлли. В данном случае, Тюренн послужил олицетворением полководческого таланта, Сюлли же – экономического гения (в должности сюринтенданта (министра финансов) Франции, он провел дальновидные преобразования, много способствовавшие укреплению финансового положения своего короля).

Франция и "великое посольство" Петра I

Вспомним, что неудача так называемого «великого посольства» 1697-1698 годов была косвенно связана с политикой Франции. Как мы помним, в ту пору Петр Алексеевич до Парижа не доехал, ограничившись впечатлениями от немецких, голландских и английских городов. Однако же главной цели – сколачивания коалиции европейских держав против Турции не удалось достичь по трем основным причинам.

Прежде всего, едва ли не вся Западная Европа была занята тогда подготовкой к грандиозной «войне за испанское наследство», где Франции предстояло помериться силами самыми сильными армиями своего времени. Тут было не до Московии с Турцией – обширных, но безнадёжно периферийных держав.

Кроме того, Франция выступала как верный и традиционный союзник Османской империи. И если Вильгельм III – он был, как мы помним, одновременно королем Англии и статхаудером Соединенных Провинций (то есть Голландии) – мог бросить свои войска против Франции в борьбе за европейскую гегемонию, то ему и в голову не могло прийти поддержать русского царя против турецкого султана и тем навлечь на свою голову протесты французских дипломатов.

И, наконец, французская дипломатия поставила себе задачей провести на вакантный в то время польский престол своего кандидата – а именно, принца Конти, приходившегося ближайшим родственником королю Людовику XIV. Русская дипломатия, как мы знаем, сделала ставку на другого кандидата – саксонского курфюрста Августа Сильного, создав и здесь несомненные помехи для воплощения в жизнь планов, выработанных в кабинетах и залах Версаля.

Руководствуясь стратегическими соображениями этого рода, французское внешнеполитическое ведомство следило за продвижением москвитов по Европе с холодным и даже неприязненным безразличием. Сюда добавлялось и психологическое отчуждение. Ведь разъезжать по европам инкогнито – в особенности же, в составе посольской свиты считалось у французов делом совсем не королевским. Людовик XIV, как известно, пределов своего королевства никогда не покидал.

В итоге, как с удивлением отмечают современные историки русско-французских отношений, «французские дипломаты были представителями единственной европейской державы в Голландии, которые не были уведомлены русской стороной о прибытии Великого посольства, не нанесли визит русским послам и не приняли их в свою очередь...»¹⁰⁵.

Более того, в европейской дипломатической среде распространился слух, что французский король направил в Балтийское море небольшую эскадру своих кораблей, поставив перед их командованием задачу захватить московского государя и доставить его под конвоем в Версаль. Слух этот, по всей видимости, дошел до Петра I, показался ему вероятным и даже заставил несколько изменить свой маршрут в той его части, которая касалась морского плавания.

Анализируя обстоятельства возникновения этого слуха, современные исследователи подчеркивают, что никаких экспедиций такого рода французский флот не предпринимал. Вместе с тем, осенью 1697 года в воды Балтийского моря вошла небольшая эскадра голландских каперов под французским командованием, в задачу которого входила доставка в Данциг уже упомянутого французского принца, предъявившего претензию на польский трон. Нельзя вполне исключить, что оно получило какие-то тайные инструкции на случай встречи с москвитами¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Лавров А.С. Великое посольство в донесениях французских дипломатов // Ораниенбаумские чтения. Сборник научных статей и публикаций. Вып. I (Эпоха Петра Великого). СПб, 2001, с.128

¹⁰⁶ Подробнее см.: Лавров А.С. Цит.соч., с.124.

По дороге домой Петр, как мы помним, изменил свои планы, и, поняв бесперспективность борьбы против турок-османов в данных исторических условиях, решил заключить с ними мир и взяться за Швецию.

Началась Северная война, последовали ее многочисленные баталии, от «нарвского конфуза» – до бомбардировки и взятия Ниеншанца. Как следствие, всего через несколько лет на острове в устье Невы заложена была крепость Санкт-Питер-бурх. Вот каким образом основание нашего города связано было косвенной, однако же прочной связью с основной линией французской политики своего времени.

Французский визит Петра I

«Война за испанское наследство» началась в 1701 году, почти в одно время с Северной войной. До мирного договора с Англией, подписанного в Утрехте в 1713 году, внимание французской дипломатии, равно как и вооруженные силы Франции были отвлечены этим длинным, многосторонним и изнурительным для всех воевавших сторон конфликтом. Придя, как сейчас говорят, к консенсусу относительно испанских и прочих связанных с ними дел, воевавшие стороны смогли уделить большее внимание положению на Балтийском море. То, что там происходило, европейскую общественность не обрадовало.

В битве у мыса Гангут 27 июля 1714 года, царские войска нанесли шведам убедительное поражение. Битва была исключительно жестокой: в победной реляции было особо оговорено, что «от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны»...

К лету 1716 года, российские солдаты хозяйничали на всем южном побережье Балтийского моря, от Кенигсберга до Копенгагена, очищая его от последних остатков шведского присутствия. Союзный «флот четырех флагов» (а именно, русского, английского, датского и голландского) готовил высадку на территории Швеции. Во главе всего этого воинства возвышалась фигура Петра, выросшая в восприятии Европы до положительно исполинских масштабов.

Английская дипломатия опомнилась первой и вывела свои вооруженные силы из союза, грозившего опрокинуть всю только что переустроенную систему европейской безопасности. Как писал один из тогдашних британских экспертов, при английском дворе «ревность к могуществу Петра быстро возрастала, так как русское владычество на Балтике угрожало стать для британской торговли хуже, чем было шведское»¹⁰⁷. Со схожими чувствами, от обязательств по отношению к русским поспешили освободиться и прочие союзники, прежде всего голландцы с датчанами.

Пора было снова отправляться в Европу и в изменившихся условиях искать новых союзников в игре, ставки которой из пренебрежимо малых постепенно сделались крупными. Весной 1717 года, Петр Великий выехал на запад знакомым маршрутом, через северные немецкие земли и Голландию. Ситуация «великого посольства» двадцатилетней давности повторялась. На этот раз, впрочем, главной целью посольства была Франция.

Надежды, которые Петр питал относительно предстоявших переговоров, отнюдь не составляли секрета для французской дипломатии. Прежде всего, Франция оставалась едва ли не последним союзником Швеции в Северной войне, входившей уже в заключительную свою фазу. Кроме того, Петр собирался напомнить о несомненной выгоде для обеих сторон стратегического франко-российского союза и, по возможности, ускорить его заключение.

Ситуация требовала экстраординарных ходов, но французская сторона готова была следовать только сложившимся стереотипам. В резком, порывистом облике русского государя современники рассмотрели лишь тысячу раз виданный ими облик «просвещенного варвара», «покровителя скифов», совмещавшего «чрезвычайную обширность познаний и что-то постоянно последовательное... с явным отпечатком старинной грубости его страны»¹⁰⁸.

По первому предложению, известной степени согласия удалось достичь. Через несколько месяцев, текст оборонительного союза России, Франции и Пруссии, доработанный совместно

¹⁰⁷ Цит. по: Корх А.С. Петр I. Северная война 1700-1721. М., 1990, с.89.

¹⁰⁸ Цитируем мемуары герцога Луи де Сен-Симона по выпущенному под редакцией Е.В.Анисимова изданию: О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году. Из записок герцога де Сен-Симона / Пер. с франц. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.143.

русскими и французскими дипломатами, был подписан в Амстердаме. При этом, его подписание не предполагало расторжения других, заключенных ранее договоров, в силу чего Франция сохранила союзные отношения также с Англией и Голландией. Поскольку последние постепенно сдвигались к позициям, положительно враждебным по отношению к России, цена Амстердамского договора была невелика.

Что же касалось второго, то весь Версаль знал, что «царь имел сильное желание быть в союзе с Францией. И ничего не могло быть выгоднее этого союза для нашей торговли, для нашего значения на севере, в Германии и во всей Европе». Точнее сказать, Петр, как обычно в своей внешней политике, следовал той линии, которая представлялась ему плодотворной при учете наиболее долгосрочных тенденций, определявших геополитическую ситуацию.

Но что было до этих тенденций Версалью, привыкшему к старой системе «восточных лимитрофов»¹⁰⁹, возможности которой представлялись французам отнюдь не исчерпанными! Верные своим старым принципам, французы подтвердили их и на словах, и путем ряда вполне символических действий. Одним из них было затягивание, а потом отклонение переговоров относительно женитьбы Короля Людовика XV на русской царевне Елизавете Петровне, будущей нашей императрице.

Мало того – с течением лет, французский король не нашел себе лучшей партии, чем Мария Лещинская, дочь экс-короля Польши Станислава. Между тем, Елизавета Петровна, отвергнутая прежде всего по причине «низкого происхождения» своей матушки, едва ли не всю жизнь продолжала мечтать о французском короле. И это было неудивительно – ведь Людовик XV слыл самым красивым и обаятельным мужчиной в Европе.

Наиболее дальновидные французы сразу отметили близорукость внешней политики своего правительства. «Царю наконец опротивели и наша невнимательность, и наше равнодушие, – с оттенком презрения писал в своих мемуарах герцог де Сен-Симон, – С тех пор мы много имели случаев раскаиваться в гибельном очаровании Англией и в безумном пренебрежении Россией»¹¹⁰.

Ну что же – на нет и суда нет. Осмотрев заводы и мануфактуры, арсенал и монетный двор, типографии и «аптекарский огород», приняв парад мушкетеров, во главе которых шел д'Артаньян¹¹¹, ознакомившись с организацией торговли, промышленности, полиции и много чего другого¹¹², русский царь отбыл восвояси. С ним отошла на долгое время в тень и более чем плодотворная идея союза России и Франции.

¹⁰⁹ Используем термин, вошедший в употребление в гораздо более позднее время.

¹¹⁰ Продолжаем цитировать записки Л. де Сен-Симона по указанному выше русскому изданию 1993 года (с.152). Заметим здесь, что герцог был современником Петра I и свидетелем его визита во Францию, но писал свои мемуары несколько позже, уже после смерти царя. В связи с многочисленными неприятными для королевского двора суждениями и оценками, их конфисковали после кончины сочинителя, положили под сукно и издали лишь по прошествии семидесяти лет.

¹¹¹ Конечно, не «тот самый» д'Артаньян, известный нам по знаменитому роману Александра Дюма, а некто совсем другой, никогда не друживший ни с Атосом, ни с Арамисом и не возвращавший королеве ее подвески... Но все же, отметим хоть в шутку, странную эту встречу офицера, носившего по случайности то же имя, что и литературный герой, ставший для мира одним из ярчайших воплощений французского духа – с царем, образ которого был потом переосмыслен как «гений-покровитель» Петербурга и перешел таким образом в пространство мифа.

¹¹² В качестве примера, назовем хотя бы парижские салоны. Знакомство с ними дало последний импульс к организации в Петербурге знаменитых петровских ассамблей

Русско-французские отношения в анненское и елизаветинское время

В царствование Анны Иоанновны, вооруженным силам Российской империи довелось принять самое активное участие в так называемой «войне за польское наследство». Ставленник Франции, Станислав Лещинский, был изгнан из пределов Польши. Его место занял саксонский курфюрст Август III, пользовавшийся всемерной поддержкой России.

Одним из ярких эпизодов этой войны стала осада балтийского порта Данцига (теперешнего Гданьска), предпринятая русскими войсками под руководством фельдмаршала Миниха весной и летом 1734 года. Низложенный уже Станислав I засел в крепости вместе со своими придворными и единомышленниками, французы пытались его выручить и выслали туда от берегов Дании свою военную эскадру. Впервые за всю историю обеих наших стран, их регулярным войскам, выступавшим под собственными флагами, довелось вступить в прямое военное столкновение.

Следуя тактике своего времени, командование русских войск расположило своих солдат в ретраншементах¹¹³, развернутых к морю в тех пунктах, где высадка с кораблей была особенно удобной, и выжгла предместья, исключив помощь десанту со стороны осажденной крепости. Позволив французским войскам высадиться на берегу и подпустив их на близкое расстояние, русские солдаты дали несколько беглых залпов и расстреляли французов, как куропаток; оставшиеся в живых поспешили покинуть негостеприимный берег со всею возможною скоростью. На следующий день французские корабли, гордо подняв, несмотря на тяжелое поражение и потери, свой обычный белый стяг, не украшенный более никакими эмблемами¹¹⁴, были уже далеко.

Исход этого скоротечного и жестокого боя мог бы позволить дальновидному стратегу предвидеть итог и более поздней, наполеоновской эскапады, до начала которой оставалось по историческим меркам ждать отнюдь не очень долго – менее ста лет. Впрочем, кто же в те времена, как, впрочем, и в наши умел учиться на ошибках и принимать во внимание исторические прецеденты!

В царствование Елизаветы Петровны, российская дипломатия приняла курс на сближение с Францией. Исторической предпосылкой последнего послужил факт самой активной помощи, полученной «дщерью Петровой» при совершении государственного переворота со стороны французского посланника в Петербурге, маркиза де Шетарди. Желая отблагодарить его на свой лад, участвовавшие в перевороте гренадеры, позднейшие «лейб-кампанцы», долго еще продолжавшие праздновать незабвенное дело, иногда в пьяном виде ломились в двери особняка Шетарди, желая облобызать физиономию товарища по заговору...

Нужно заметить, что в 1745 году французский король сделал наконец тот символический шаг, которого от него ожидали со времен Петра Великого. Дело в том, что Франция так и не признала императором ни его, ни кого-либо из его преемников на русском троне, что для

¹¹³ Окопах (от французского "retranchement"). Заметим, что в русский язык еще в петровскую эпоху было принято непосредственно из французского языка немало военных терминов, как-то: бастион, батальон, брешь, гарнизон, калибр, марш, мортира, пароль. В самом начале петровского Морского устава, сразу же после «Присяги, или Обещания всякого воинского чина людям» читаем определение: «Флот есть слово французское. Сим словом разумеется множество судов водных вместе идущих, или стоящих, как воинских, так и купецких» (Устав морской. СПб, 1993, с.13 (репринтное воспроизведение издания 1763 года; оригинал был выпущен в свет в 1720 году). Оговоримся, что это слово вошло в употребление у русских еще в годы юности Петра Алексеевича.

¹¹⁴ Иногда, впрочем, этот прославленный во многих морских сражениях штандарт (Pavillon de la Marine royale) подвергался «флёрделизации» (était fleurdélysé) – иначе сказать, украшению королевскими лилиями.

огромной восточной державы было довольно обидным¹¹⁵. Лишь с воцарением Елизаветы Петровны, и то через четыре года, в предвидении возможного будущего сближения, Людовик XV решил признать очевидное.

Впрочем, это не помешало ему взять свое королевское слово назад при первой возможности. Когда на российском престоле воцарился Петр III, из Франции пришла весть, что титул императрицы был признан версальским двором лишь в порядке исключения, лично за Елизаветой Петровной. Аналогичное известие получила в свой черед и новая царица, Екатерина II.

Лишь в 1772 году, за два года до смерти Людовика XV, после изнурительных демаршей и консультаций, его дипломатия согласилась признать за Екатериной Алексеевной императорское достоинство – и то с оговорками. К примеру, в официальных документах, исходивших от версальского двора, титул императрицы писался не по-французски, а на латыни¹¹⁶.

Сейчас нам уже трудно сказать, зачем было так долго и неостроумно дразнить русских царей. Для темы нашего рассмотрения, важнее будет отметить, что тем самым французские короли упорно, едва ли не до последней возможности отказывали Санкт-Петербургу в достоинстве столицы империи, которое было заложено Петром I в основание идеологии и символики его любимого детища.

Вступив в Семилетнюю войну против войск Фридриха Прусского, Россия более в силу обстоятельств, нежели целенаправленной политики, оказалась во временном союзе с Францией – равно как, впрочем, и с Англией. Потенции, содержащиеся в этих союзных отношениях, могли быть с большой пользой развернуты в больших, долгосрочных договорах, но эту возможность елизаветинская дипломатия – как, впрочем, и дипломатическая служба Людовика XV – упустила.

¹¹⁵ Первыми, на следующий же год после подписания Ништадтского мира (1721) императорский титул признали за царем Швеция, Пруссия, а также Голландия.

¹¹⁶ Подробнее см.: Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии: Становление русско-французских отношений в XVIII веке, 1700-1775. М., 1995, с. 251-252, 291-302.

Вольтеровский миф о Петре Великом

Поставив себе задачей содействовать тому, что сейчас называется «благоприятным имиджем в глазах цивилизованных стран», идеологи елизаветинского царствования нашли целесообразным обратиться к наиболее влиятельному писателю своего времени и заказать ему сочинение, представляющее европейской публике исторические задачи, равно как духовные основания «петербургской империи» в самом выгодном свете.

Выбор пал на Вольтера, переданная же снискавшему уже повсеместную известность французскому философу и писателю солидная сумма денег обусловила его безусловное согласие уделить время и силы такому труду. Так появилась «История Российской империи в эпоху Петра Великого», занимающая и поныне заметное место в творческом наследии французского классика.

Вольтер как историк Петра заслужил у нас немало упреков в некотором безразличии к своему предмету и недостаточном знакомстве с материалом. Они, в общем, справедливы. Самым искренним в тексте Истории нам представляются открывающие ее восклицания, где приступающий к своему сочинению историк поражается тому, как в течение каких-то пятидесяти лет, прошедших с начала XVIII столетия, будет просвещена (*police*) раскинувшаяся на две тысячи лье, прежде того никому не известная империя, и что в глубине Финского залива (*au fond du golfe de Finlande*) утвердился блистательный двор (*une cour magnifique et polie*), влияние которого распространится на всю Европу – не в последнюю очередь, посредством побед ее армий. Действительно, именно так в Париже и думали – впрочем, чаще всего отнюдь не с радостью...

Впрочем, Вольтер, как и любой публицист, занимался в первую очередь мифотворчеством. Вот и в написанной им Истории наиболее занимательным и актуальным остается именно мифологический пласт, скрытый под риторическими красотами. Обратившись к анализу этого «текста под текстом», мы замечаем, что отбор мифологем проведен довольно последовательно, действительно в пользу России – так, как Вольтер ее понимал – и в соответствии не столько с исторической, сколько с иной, политической логикой.

Для примера достаточно обратиться к описанию посещения Петром I Франции в 1717 году, о котором нам довелось уже коротко говорить выше. На время этого визита славный муж, историю которого Вольтер писал, покинул мало знакомые французскому просветителю пределы скифской своей родины и прибыл в более чем знакомый ему Париж. Вот, казалось бы, золотая возможность уделить время и место действительно важному событию, используя при этом в полной мере как впечатления очевидцев, живых еще во времена Вольтера, так и подробно прокомментировав глубинные причины неудачи французской политики Петра Великого.

К нашему удивлению, именно при описании этого посещения перо французского историка движется особенно вяло. Визиту царя во Францию посвящена всего только заключительная часть главы VIII второго тома его труда. Главное, что Вольтер имел сообщить по этому поводу читателю, сводилось к тому немудреному утверждению, что «Петр Великий был принят во Франции так, как следовало» (*“Pierre le Grand fut reçu en France comme il devait l'être”*).

Между тем, еще современники отмечали, что «за невозможностью отказаться, надобно было изъяснить удовольствие видеть государя, хотя регент охотно обошелся бы без его посещения»¹¹⁷. Были признаки, что Петр эту принужденность заметил. Любопытно, что следы неко-

¹¹⁷ См.: О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году. Из записок герцога де Сен-Симона / Пер. с франц. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.140.

торого взаимного неудовольствия в вольтеровском тексте прослеживаются, несмотря на всю его краткость.

Так, несколько выше, Вольтер отметил, что Петр не понимал по-французски, что лишило его самой большой пользы от посещения Франции (*“il n’entendait pas la langue du pays, et par là perdait le plus grand fruit de son voyage”*). Здесь Вольтер разошелся с фактом того, что Петр Алексеевич владел французским языком – скорее всего, не свободно, однако в достаточной степени, чтобы понимать общий смысл как устной, так и письменной речи.

Память об этом, небезразличная для французов, ревностно относившихся к своему языку в те времена, как, впрочем, и в наши дни, очевидцы визита сохранили. К примеру, не раз уже цитированный нами герцог де Сен-Симон подчеркнул в своих мемуарах, что «царь хорошо понимал по-французски и, я думаю, мог бы говорить на этом языке, если бы захотел; но, для большей важности, он имел переводчика; по-латыни же и на других языках он говорил очень хорошо»¹¹⁸.

Следует несколько анекдотов, характеристика научно-технических интересов Петра I и дежурное сравнение с мудрым скифом Анахарсисом, вскоре после которого сочинитель благополучно привел корабль восьмой главы в гавань, умудрившись обойти по дороге все подводные рифы¹¹⁹... Разумеется, назвать все это, коротко описанное выше описание историей было бы некорректным. Однако оно стало бы более чем конструктивным, если бы политические линии Петербурга и Версаля пошли на сближение и их нужно бы было возвести к эпохе «отцов-основателей».

Собственно, в этом духе построена идеология вольтеровской Истории Петра Великого в целом. Произведя разумный отбор исторических фактов и суждений, французский публицист заложил в середине XVIII столетия основания идеологического конструкта, возводившего истоки францужско-российского сближения к достаточно мифологизированным фигурам Петра I и Людовика XV¹²⁰.

Приняв во внимание аргументы этого плана, не приходится удивляться тому, что, взявшись за сбор подготовительных материалов к Истории Петра I, А.С.Пушкин избрал книгу Вольтера в качестве основного источника для описания основных событий, произошедших во время визита 1717 года в Париж.

¹¹⁸ Цит.соч., с.144.

¹¹⁹ Столь же коротким осталось и сообщение об основании Петербурга, помещенное Вольтером в середине главы XIII первого тома разбираемого сочинения. Коротко изложив историю взятия Ниеншанца, для важности произведенного писателем в «значительное укрепление» (*«une forteresse importante»*), он поставил акцент на трудностях обустройства в пустынной и болотистой местности (*«ce terrain desert et marécageux»*) потребовавших неисчислимых жертв.

¹²⁰ В большей степени, пожалуй, регента – упомянутого в предшествующем изложении Филиппа Орлеанского – поскольку во время визита Петра I, король Франции был еще мальчиком.

«Завещание Петра Великого»

Линии на сближение России и Франции противостояла линия на их отчуждение, также подвергнутая кодификации к середине XVIII столетия в так называемом «Завещании Петра Великого». Текст этого документа, разошедшегося по Европе в целом ряде более или менее несовпадающих версий, следует признать несомненно подложным. С большой вероятностью, он был подготовлен и пущен в обращение во Франции, примерно в то же время, что и вольтеровская «История Российской империи в эпоху Петра Великого».

Действительно, большинству версий, получивших тогда более или менее широкое распространения, предпослано указание на то, что копия оригинала Завещания была доставлена во Францию и представлена королю Людовику XV в 1757 году одним из его агентов, по имени шевалье Шарль д'Эон. Имя это российским историкам известно. Шевалье действительно побывал в Петербурге. Более того, он получил доступ к русским архивам эпохи Петра Великого и по поручению императрицы доставил Вольтеру ряд документов, необходимых тому для завершения упомянутой выше истории (как известно, она увидела свет в 1759-1763 годах).

Знакомство с самим текстом оставляет у современного читателя достаточно двойственное впечатление. С одной стороны, стиль его краток и прост. Разбитый на пункты, он рекомендует преемникам Петра на российском троне (*“à tous nos descendants et successeurs au trône et gouvernement de la nation russe”*) поддерживать государство в постоянном напряжении, а вооруженные силы – в состоянии непрерывной войны. Основной целью поставлено достижение политической доминации в мире, не последнюю роль в котором имеет сыграть заключение фальшивых союзов и игра на противоречиях европейских держав.

Краткие пункты Завещания следуют один за другим, как удары шпицрутена, глаголы же лучше всего передают направление мысли: «расширяться – возбуждать – добиваться – изгонять – нейтрализовать – стараться», и далее в том же духе¹²¹. Нужно сказать, что многие из них вполне соответствовали геополитическим устремлениям российских военных и дипломатов того времени. Не более и не менее, впрочем, чем правительства любой мало-мальски значительной державы: макиавеллизм никогда не выходит из моды.

С другой стороны, стоит заметить, что текст подвергнут последовательной мифологизации. Прежде всего, он привязан все к той же фигуре «отца-основателя» Российской империи, тень которого виделась подлинным авторам Завещания нависающей над Европой и после его смерти.

Далее, последняя воля великого сего мужа сведена к одним только территориальным захватам. Не отрицая настойчивости Петра I в расширении своих владений, нужно сказать, что таким примитивным его мышление никогда не было; дальнейшие аргументы этого плана представляются нам положительно излишними.

И, наконец, внимание французского общества акцентировалось на политической программе, заложенной в Завещании, всякий раз перед нападением на Россию, будь то поход Наполеона I или же крымская авантюра Наполеона III с союзниками. Заложенный в его тексте «образ врага» удивительно соответствовал стереотипам захватнической политики самих французов¹²².

Приняв во внимание эти соображения, нам остается сделать предположительный вывод, что в тексте так называемого «Завещания Петра Великого» нашла достаточно полную кодификацию оформившаяся к середине XVIII столетия политическая концепция исконной враж-

¹²¹ “S’étendre – exciter – rechercher – chasser – neutralizer – s’attacher” etc.

¹²² Подробнее см.: Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986, с.218-279.

дебности «петербургской империи» по отношению к Франции и Европе. Этот идеологический конструкт был подкреплён обращением к мифологизированной в том направлении, которое представлялось желательным анонимным французским составителям текста, фигуре Петра I.

Русско-французские отношения в екатерининскую эпоху

Идея стратегического союзничества со Швецией, Польшей и Турцией продолжала служить поистине путеводной нитью для французской дипломатии в ее восточной политике. В царствование же Екатерины II, Россия продолжала теснить шведов, приняла самое деятельное участие в последовательно проведенных трех разделах Польши, и более чем успешно воевала с Турцией.

Как помнят историки, при дворе великой императрицы была сформулирована и идея так называемого «греческого проекта», в задачи которого входило удаление Турции из Европы и воссоздание на берегах Босфора православного греческого царства под эгидой России. Многое указывало на то, что и он может увенчаться успехом. В этих условиях, наиболее дальновидные французские политики стали все более серьезно задумываться о смене приоритетов на востоке. Кстати, заметим, что одним из первых во Франции, кто поддержал сей проект – а по другим данным, даже и заронил его в ум русской царицы – был, как ни странно, Вольтер.

Переговоры велись в Петербурге, однако решающий импульс они получили с юга. Присоединив Новороссию и Крым, Россия приступила к созданию черноморского флота, строительству военно-морской базы в Севастополе, оборудованию или расширению целого ряда портов и торгово-перевалочных пунктов по всему северному берегу Черного моря. Тут важно было не опоздать, как на Балтийском и Белом морях.

Дело все было в том, что, получив известные преференции еще в петровские времена, голландские и в особенности английские купцы практически монополизировали в более позднее время торговлю с Россией на «северных морях». Вполне соответствовавшая духу еще средневековой Ганзы, эта линия поведения нашла себе выражение в русско-английском торговом договоре 1734 года, который не раз потом продлевался. У англичан были сильные сторонники и покровители в самых различных слоях петербургского общества, в том числе и при дворе, где «английскую партию» возглавлял всесильный князь Григорий Потемкин.

Что же касалось до «южных морей», то позиции Франции в средиземноморской торговле были пока вполне прочными – прежде всего, благодаря альянсу с турками, традиционному для обеих сторон. Британия, все с большим основанием ощущавшая себя «царицей морей», пока еще не освоилась в водах, омывающих берега южной Европы. В этих условиях, именно французская торговля могла быстро и эффективно вдохнуть жизнь в порты Новороссийского края, к чему Екатерина II, равно как и Г.А. Потемкин-Таврический, не могли не стремиться. «Новороссийский проект» был, вообще говоря, любимым детищем князя Григория Александровича, что само по себе поддало ветра в паруса французской дипломатии.

Французский посол, молодой граф Луи-Филипп де Сегюр, принадлежал к кругу аристократии времен короля Людовика XVI (отец его позже получил пост военного министра). Он был разносторонне одарен, прекрасно начитан и знаком со всеми тонкостями версальской придворной жизни. При всем этом, тридцатилетний граф был храбрым человеком: ему довелось принять участие в Войне за независимость США и достойно себя проявить.

Столица Российской империи произвела на молодого дипломата неоднозначное, но сильное впечатление. «Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны – модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой – купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременные пояса. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов,

некогда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Траяновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами», – писал граф, искренне сожалея о том, что тут довелось побывать слишком малому числу его соотечественников¹²³.

В скором времени положение изменилось, поскольку немало французских роялистов почти за лучшее бежать из охваченного революционными потрясениями Парижа в сады «северной Семирамиды». За ними последовали в свой черед и любознательные путешественники, которых неизменно охватывало амбивалентное чувство, совмещавшее сознательное восхищение перед красотой города и неясное, почти подсознательное опасение перед толпой варваров, копящих здесь, «на краю Азии» мощь, которая может обрушиться и на Западную Европу. Нашедшая таким образом оформление в мыслях Сегюра двойственная, привлекательная и опасная метафизика Петербурга нашла себе продолжение в трудах таких его соотечественников и преемников в деле постижения духа нашего города, как граф де Местр и маркиз де Кюстин.

При дворе Екатерины II, французский посол был встречен доброжелательно. Вскорости он вошел в избранный круг придворных, приглашавшихся царицей на ее “*petites soirées*”, где ему довелось принимать деятельное участие в разнообразных, но неизменно милых забавах и шалостях. Иногда описывали в юмористических тонах некоего «Бамбукового короля», прозванного так для того, чтобы остроты никто не мог принять на свой счет. В другое время писали по очереди ответы на всякие вопросы – например, «Что меня смешит». Доводилось и составлять вместе пьески на сюжет, заданный какой-либо французской пословицей, например: “*Il n’y a point de mal sans bien*”¹²⁴.

Другой раз играли в буриме, рифма была задана вполне куртуазная: “*amour – frotte – tambour – note*”¹²⁵. Большинство владевших техникой французского стиха участников и написали нечто в духе принятых тогда «милых непристойностей», чего и следовало ожидать. Верный принципу быть всегда изобретательным в лести, де Сегюр обратился мыслью к государственному положению России, и написал следующее:

“*De vingt peuples nombreux Catherine est l’amour:
Craignez de l’attaquer; malheur à qui s’y frotte!
La renommée est son tambour,
Et l’histoire son garde-note*”.

«Эта похвала понравилась и заслужила себе более похвал, чем иная ода», – с гордостью вспоминал граф через много десятков лет в своих записках¹²⁶. Оно и немудрено: можно представить себе, как польщена была императрица, никогда не забывавшая государственных дел за забавами и чувствительная к мнению европейцев, в особенности же галантных французов.

Получить аудиенцию у императрицы ценилось весьма высоко; войти в ее избранный круг значило все – как это испокон веков было заведено при любом дворе... Не вызывает сомнения, что мысль о целесообразности заключения первого в истории обеих великих стран «Договора о дружбе, торговле и навигации» получила свое первоначальное оформление в этом интимном кругу лиц.

¹²³ Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II / Пер. с франц. // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989, с.327.

¹²⁴ «Нет худа без добра» (франц.). Об атмосфере этих «интимных вечеров» в императорском Эрмитаже подробнее см.: Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990, с.206-208 (репринт второго издания 1889 года).

¹²⁵ «Любовь – затронуть – барабан – запись».

¹²⁶ «Екатерина – предмет любви двадцати народов / Не нападайте на нее: беда тому, кто ее затронет! / Слава – ее барабанщик, / А история – памятная книжка» (цит. по: Сегюр Л.-Ф. Цит. соч., с.408; оговоримся, что процитированная эпиграмма была написана в 1787 году, во время путешествия по России в составе царицыной свиты).

Круг вопросов, переданных для обсуждения дипломатам обеих сторон, оставался между тем довольно обширен, а частично и осложнен разного рода побочными соображениями. Так, Франция добивалась статуса «наиболее благоприятствуемой нации», которого ей, преимущественно из опасения осложнений с другими торговыми партнерами, царская дипломатия давать не хотела. С другой стороны, импорт российского железа на французский рынок мог подорвать позиции шведов, и вызвать их энергичные протесты, чего Франция в свою очередь допускать не хотела; на том список затруднений отнюдь не кончался.

При иных условиях, почти что над каждым из этих вопросов можно было сидеть годами. Но тут все сложилось совсем по-другому. Французские переговорщики имели возможность заметить, что их русские визави получили с самого верха доверительное предписание скорей кончить дело ко взаимному удовольствию. В последний день уходящего, 1786 года Договор, на который обе стороны возлагали большие надежды, был благополучно подписан. Граф де Сегюр не имел даже особой возможности насладиться полнотой своей победы над посланниками соперничавших государств. Всего через две недели, он был приглашен императрицей в поездку по новообретенным областям прекрасной Тавриды и с удовольствием присоединился к ее свите.

«Договор о дружбе, торговле и навигации, заключенный в Петербурге 11 января 1787 г. (31 декабря 1786 г. по старому стилю) стал своего рода кульминацией русско-французских отношений в XVIII веке. Он открывал широкие перспективы развитию торговых связей между двумя странами и, что самое главное, – предусматривал налаживание тесного политического сотрудничества России и Франции», – подчеркнул один из ведущих отечественных специалистов в области истории русско-французских отношений¹²⁷.

Последовавшее вскоре, почти одновременное нападение на Россию как Турции, так и Швеции, отнюдь не утративших расположения версальского двора, остановили развитие этой тенденции русско-французских отношений, которая восходила, как нам уже довелось говорить, к любимым геополитическим идеям Петра Великого. Ну, а далее тронулась лавина французской революции, решительно изменившая весь облик старой Европы.

¹²⁷ Черкасов П.П. Русско-французский торговый договор 1787 года // Россия и Франция. XVIII-XX века. Выпуск 4. М., 2001, с.59 (курсив наш). Более общий контекст данной положения дел представляет более ранняя монография указанного автора: Двуглавый орел и королевские лилии: Становление русско-французских отношений в XVIII веке, 1700-1775. М., 1995.

Французские мэтры в Петербурге XVIII века

К известному отчуждению между двумя странами нужно добавить также политику французских властей, сознательно ставивших препятствия на пути эмиграции, тем более – выезда за границу лиц, хорошо владевших каким-либо ремеслом или искусством. В свою очередь, русские власти испытывали постоянный недостаток иностранных специалистов и были готовы пойти на очень значительные расходы затем, чтобы сманить их к себе на службу – прежде всего, в недавно заложенный Санкт-Петербург.

Закрывать пределы французского королевства герметически было делом заведомо невозможным. Как следствие, общей тенденцией XVIII столетия стало расширение французской иммиграции в Россию, начавшейся, так сказать, с индивидуальных контрактов в эпоху Петра I и приобретшей черты массовости уже во времена его царственной дочери.

«Французская трудовая иммиграция в России, робко начавшаяся со времен Петра I, обрела при Елизавете Петровне столь заметные масштабы, что версальский кабинет не на шутку встревожился «утечкой мозгов» и квалифицированных работников из Франции. Герцог Шуазель в бытность свою министром иностранных дел чинил всевозможные преграды выезду подданных короля в Россию и неоднократно делал соответствующие внушения графу М.П.Бестужеву-Рюмину и последующим русским представителям при версальском дворе. Тем не менее «ползучая иммиграция продолжалась и с вступлением на русский престол Екатерины II.

В служебной переписке ее посланника в Париже князя Д.А.Голицына за 1763-1767 гг. можно найти немало упоминаний о настойчивых просьбах отдельных французов самых разных сословий и званий относительно перехода на русскую службу или даже в российское подданство. Эта тенденция продолжалась и впоследствии, когда русское правительство стало предъявлять весьма высокие требования к искателям счастья в России, среди которых были ученые и профессиональные военные, архитекторы и учителя, крестьяне-виноградари и мастеровые, но также и авантюристы», – верно заметил цитированный уже нами П.Д.Черкасов¹²⁸.

Любопытно, что этот вопрос всплыл и в ходе переговоров, предшествовавших заключению знаменитого русско-французского торгового договора 1787 года, о котором нам только что довелось рассказать. Как это ни удивительно, но русские крепостники практически до конца стояли на той точке зрения, что если какой человек захотел бы покинуть, скажем, Францию и переехать хотя бы в Россию, то никто не был бы вправе чинить ему препятствий. Французские же переговорщики, все более или менее подверженные влиянию идей Просвещения, из принципа противостояли признанию этого права. Как видим, широкие массы французов рассматривали «петербургскую империю» как своего рода «Новый Свет» – место возможного приложения своих способностей и талантов.

Начала этой политики, как всё в новой России, и прямо, и косвенно восходили к Петру Великому. Историки русской культуры напоминают в связи с этим об известной инструкции, адресованной осенью 1715 года Петром I одному из своих доверенных лиц в Париже, сразу же после смерти Людовика XIV. «...Понеже король французский умер, а наследник зело молод, то, чаю, многие мастеровые люди будут искать фортуны в иных государствах, для чего навещайся о таких и пиши, дабы потребных не пропускать», – в своем характерном стиле, совмещавшем смекалку с широким общекультурным кругозором, писал Петр¹²⁹.

¹²⁸ Черкасов П.П. Русско-французский торговый договор 1787 года // Россия и Франция. XVIII-XX века. Выпуск 4. М., 2001, с.37-38.

¹²⁹ Цит. по: Овсянников Ю.М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси. СПб, 2000, с.208.

Иное общеизвестное высказывание дальновидного монарха сохранил для потомков один из сотрудников государя, Андрей Нартов. В анекдоте 39 своего собрания, изданного под заглавием «Достопамятные повествования и речи Петра Великого», он писал: «По случаю вновь учрежденных в Петербурге ассамблей или съездов между знатными господами похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение, обычай и обряды, на которые отвечал он так: *«Добро перенимать у французов художества и науки. Сие желал бы я видеть у себя, а в прочем Париж воняет»*¹³⁰...

Действительно, уже в царствование Людовика XIV Франция вошла в число стран, определявших развитие науки и культуры, технологии и организации производства Европы, а следовательно – и мира. Что же касалось роскоши и расточительства версальского двора, бывших поистине безумными, то и они получили более чем обширную известность «в стране и в мире», немало способствуя впоследствии успехам революционной пропаганды.

Впрочем, страшную катастрофу французской монархии предвидели тогда очень немногие. Что же касалось до выгод, предоставлявшихся приезжим специалистам в России, то они были вполне очевидными, что и повлияло на решение многих специалистов перебраться на берега Невы. К архитектуре нам предстоит обратиться далее. Что же касалось иных искусств, то еще в петровские времена у нас появился выдающийся французский скульптор Никола Пино, ставший автором целого ряда резных и лепных композиций, необыкновенно украсивших петергофские дворцы. Сработанные им статуи римских богинь, Минервы и Беллоны, по сей день стоят по сторонам Петровских ворот – главного входа в Петропавловскую крепость и одной из фокальных точек на сакральной карте Петербурга от петровской эпохи – до наших дней.

Для русской скульптуры времен классицизма особо важным стало педагогическое и художественное творчество Н.Жилле. «Школу Н.Жилле, заложившую основы классического ваяния в России, прошли все ведущие русские скульпторы второй половины XVIII века, окончившие петербургскую Академию художеств: Ф.Гордеев, М.Козловский, И.Прокофьев, Ф.Щедрин, Ф.Шубин, И.Мартос и другие», – подчеркнул современный исследователь¹³¹.

В отечественной живописи первой половины XVIII столетия, блистал Луи Каравакк, занявший место придворного живописца во времена императрицы Анны Иоанновны. Вероятно, читателю памятли написанные им большие парадные портреты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны – равно как и маленькое, решительно необычное для нашей тогдашней портретной живописи, изображение последней из названных особ в ту пору, когда она была еще ребенок. Голенькая малютка помещена живописцем на горностаевой мантии; вид ее умилителен и совершенно неотразим.

В изобразительном искусстве середины восемнадцатого века немаловажным представляется несколько уже подзабытое творчество французского живописца Л.Токке. «Уровень его живописной культуры, высоко оцененный влиятельными русскими заказчиками, служил своеобразным ориентиром для художников и заказчиков, все заметнее тяготевших к совершенному и изящному искусству»¹³².

Ближе к концу столетия, положение существенно изменилось. Для того, чтобы обратить на себя внимание в тех условиях, когда деятельно работали Рокотов и Левицкий, надобно было

¹³⁰ Курсив наш. По изысканиям современных историков, записки Нартова были, по всей вероятности, переработаны его сыном Андреем Андреевичем – что, впрочем, не умаляет существенно их достоверности. Заметим, что в ходе визита 1717 года Петр I произвел на французских академиков настолько благоприятное впечатление, что был ими вскоре избран своим иностранным общником. Всего же с петровского времени до наших дней французы избрали 46 россиян иностранными членами своей Академии наук, а мы – вчетверо больше (полные списки с необходимыми комментариями приведены в публикации: Русско-французские научные связи / Ред. А.П.Юшкевич. Л., 1968, с.22-30, 87-93).

¹³¹ Кириллов В.В. Скульптура // Очерки русской культуры XVIII века. Часть четвертая. М., 1990, с.89.

¹³² Евангулова О.С. Живопись // Очерки русской культуры XVIII века. Часть четвертая. М., 1990, с.128.

располагать выдающимся дарованием. Тем не менее, в екатерининскую эпоху у нас выдвинулись такие выдающиеся мастера, как вальяжный Александр Рослин (швед по рождению, но француз по школе и духу). Он умудрился написать портрет Екатерины II на такой своеобразный манер, что та потом долго его поминала, удивляясь, как можно в облике такого нежного создания, как она, разглядеть черты, как выразилась государыня, какой-то «шведской кухарки». Впрочем, в какую эпоху женщины были довольны своими изображениями...

Пользовался успехом в Петербурге тех лет и значительно более деликатный Жан-Луи Вуаль, прославившийся своей трогательной и печальной розово-серо-голубоватой палитрой.

На протяжении века, перебирались к нам из Франции и мастера декоративно-прикладного искусства. Поскольку таковых приезжало явно недостаточно для нужд нашего обширного государства, уже в петровские времена была найдена оптимальная форма организации их труда. Приезжий специалист возглавлял мастерскую и принимал в нее для обучения и совместного труда более или менее подготовленных местных учеников, которые и должны были «с лёта» перенимать секреты профессии, равно как и более общего искусства соподчинять разные элементы стилевого убранства. Вскоре после визита Петра I в Париж, у нас появились первые лепщики, резчики по дереву, литейщики и другие мастера, работавшие по этому принципу.

В том же, 1717 году была у нас заведена и Шпалерная мануфактура, специализировавшаяся на выработке гобеленов. Сначала она располагалась в Екатерингофе, но позже была переведена ближе к центру города – откуда, кстати, произошло название теперешней Шпалерной улицы. «Организованная по типу французской королевской гобеленовой мануфактуры, она вначале и обслуживалась приезжими мастерами-французами, которые должны были обучать русских учеников. Но французы делали это неохотно и вскоре были уволены. Остался один мастер Филипп Бегабль. В 1719 году туда набрали «грамоте умеющих» молодых ребят. Под руководством мастера они вскоре дошли «до совершенства»¹³³.

В самом начале екатерининской эпохи, к нам перебрался талантливый ювелир Л.-Д.Дюваль, много и плодотворно работавший по заказам двора. К концу жизни, этот «Фаберже восемнадцатого столетия» получил разрешение на открытие в Петербурге собственной фирмы под названием «Дюваль и сыновья», в которой, в самом тесном контакте с собственно ювелирами, работали также художники-миниатюристы и представители других смежных специальностей. В Эрмитаже хранится целый ряд произведений, выполненных под наблюдением этого мастера.

Не представляется возможным забыть и о геральдическом деле, которое Петр I положил завести в Российской империи в самом конце своего царствования. У истоков его в нашей стране встал граф Франциск (Франческо) Санти, которого царь своим личным указом назначил в 1722 году на должность товарища (то есть заместителя) герольдмейстера. Граф был, собственно, уроженцем Пьемонта, но в юности перебрался в Париж, где получил образование, включавшее изучение истории и наук, «прилежащих к генеалогии». Генеалогия и геральдика, игравшие исключительно важную роль в жизни дворянского общества Западной Европы, получили во Франции глубокую и разностороннюю разработку и развитие.

Санти был представлен Петру в Амстердаме, в 1717 году – то есть по дороге в Париж. Он произвел на царя весьма благоприятное впечатление и был сразу же приглашен на службу. Всего ему довелось усовершенствовать или заново сочинить более ста тридцати «провинциальных и городских гербов». К последним относился и герб Санкт-Петербурга, который получил свою окончательную форму и был утвержден уже после смерти Петра I – хотя, несомненно, соответствовал его вкусу и устным пожеланиям¹³⁴.

¹³³ Мавродин В.В. Основание Петербурга. Л., 1978, с.116.

¹³⁴ См.: Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Семиотика города и городской культуры: Петербург \ Труды по знаковым системам. XVIII. Тарту, 1984, с.46-54.

Не повторяя известных французских эмблем, Санти отказался и от изображения «золотого пылающего сердца под золотою короною и серебряной княжеской мантией», которое было включено в Знаменной гербовник времен Северной войны. На первое место он вывел тот прагматизм, который пронизывал красной нитью петровскую идеологию. Так на гербе «северной столицы» его карандаш вывел «скипетр жолтой, над ним герб государственный, около него два якоря серебряные, поле красное. Сверху корона императорская»¹³⁵. С тех пор эта эмблема находится в употреблении по сей день – за вычетом перерыва, о котором отечественному читателю нечего долго напоминать.

¹³⁵ См.: Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985, с.55-59, 158.

Французский балет в Петербурге XVIII века

Еще одна сфера, в которой влияние французской культуры было неоспоримым – это профессиональный балет. Знакомство отечественного зрителя с этим видом искусства было, кстати сказать, достаточно давним. Как известно, еще при дворе отца Петра I – царя Алексея Михайловича – предпринят был пробный показ «Балета об Орфее и Евридике», не увенчавшийся, впрочем, особым успехом и зримых последствий не имевший. Потом были эпизодические выступления различных проезжих трупп. Подлинным прорывом стало творчество замечательного танцовщика, балетмейстера и педагога Жана-Батиста Ланде.

Ланде прибыл в Россию в царствование Анны Иоанновны, успев уже заложить основы балетного образования в Швеции. Начав с преподавания танцев в Сухопутном шляхетском корпусе, а также частных уроков придворным, он очень удачно поставил дивертисмент в опере «Сила любви и ненависти», а в 1737 году подал прошение об открытии профессиональной балетной школы. Согласие было получено, а уже в следующем году школу удалось открыть. Как подчеркивают историки балета, «с этого времени начинается история первой русской балетной школы, впоследствии ставшей Петербургским театральным училищем (первоначально она имела трехлетний курс обучения и находилась в Старом Зимнем дворце)»¹³⁶.

Не помню уж, кто из видных деятелей современной культуры высказался в том смысле, что национальным русским танцем следовало бы по справедливости считать классический балет. Мнение это безусловно несправедливо – во всяком случае, существенно преувеличено. Однако же применительно к «петербургскому периоду» его можно рассматривать как почти соответствующее истине. Более того, метафизика Петербурга не может быть адекватно понята без обращения к периоду высшего развития петербургского балета – времени от зрелого Петипа до дягилевских «русских сезонов»... Вот почему всегда стоит помнить, кто же стоял у истоков этой славной традиции – нашего, петербургского искусства *par excellence*¹³⁷.

Здесь, кстати, стоит заметить, что роль балетмейстера в ту эпоху охватывала значительно более широкую область, нежели во времена Петипа. Как хорошо писала в тридцатых годах прошлого века Л.Д.Блок¹³⁸ в связи с творчеством Ж.-Б.Ланде, «танцмейстер при дворе – это большая общественная величина. Не всякий танцмейстер становился балетмейстером, но всякий балетмейстер был *прежде всего* танцмейстер. Танцмейстер – образцовый придворный кавалер, «джентльмен с головы до ног», как сказали бы потом. Он обучает манерам короля и королеву, с ним советуются, ему подражают... Опять-таки, чтобы понять значительность этого явления, надо попробовать отрешиться от иронического оттенка, который неизбежен в отношении к придворному быту уже и в XIX веке. Для начала XVIII века двор и его быт – это все еще максимум просвещенной и культурной жизни. Просвещенный человек брал свои манеры у танцмейстера»¹³⁹.

Конечно, в неуклюжую аннинскую эпоху положение было таким разве что в идеале. Однако же несколько позже, в елизаветинские времена, этот идеал стал оказывать на действительность довольно значительное влияние. Известно, что после одного из придворных балов, Ланде сказал со значением, что Елизавета Петровна танцует менуэт с исключительной грацией – может статься, что лучше всех в Европе! Зная себе цену «дщерь Петрова», купавшаяся в придворной лести, к тому же любившая и умевшая танцевать, буквально задохнулась на мгно-

¹³⁶ Кулаков В.А. Ланде // Балет. Энциклопедия. М., 1981, с.292.

¹³⁷ «По преимуществу» (франц.).

¹³⁸ Да-да, та самая Любовь Дмитриевна, «Прекрасная Дама» блоковской поэзии. В конце жизни, она обратилась к истории балета, много писала о нем и даже преподавала. Моя мама на всю жизнь запомнила по Хореографическому училищу ее уроки.

¹³⁹ Блок Л.Д. Классический танец: История и современность. М., 1987, с.267 (курсив автора).

вание от удовольствия. Вскоре о комплименте знал и повторял его на разные лады весь петербургский двор, а по прошествии нескольких месяцев к нему присоединилась и Европа.

В конце екатерининского царствования, в 1786 году, у нас появился другой видный деятель балетного искусства, француз (собственно, эльзасец) по происхождению Шарль Ле Пик. Он был учеником и верным продолжателем дела великого реформатора балета, Жан-Жоржа Новера. Парижская публика буквально таяла от восторга, любуясь танцем молодого Ле Пика. «Если он и не танцует совсем как Отец вседержитель, говоря словами Вестриса, то, по меньшей мере, его танец можно назвать танцем короля сильфов», – писал в восхищении один из крупнейших деятелей французского Просвещения, барон Гримм¹⁴⁰. Сильфы здесь упомянуты, поскольку в демонологии того времени они считались духами воздуха: Гримм намекал на присущую танцу Ле Пика превосходную элевацию¹⁴¹. Что же касалось до упомянутого в приведенной цитате Вестриса, так то был другой гений парижской сцены, соперничество с которым омрачило удачные в целом выступления Ле Пика.

Явившись на берега Невы, зрелый – почти уже сорокалетний – Ле Пик нашел здесь прекрасно обученную, дисциплинированную труппу, хороший оркестр и целый спектр дополнительных постановочных возможностей. В одной из его первых постановок, на сцену, помимо корифеев и кордебалета, выходило до сотни солдат, составлявших миманс, вспомогательные оркестры, а к ним еще много кого другого – от живых лошадей до бутафорского слона с ребенком, сидевшим в корзине, помещенной на его спине...

Шарль Ле Пик поставил на петербургской сцене целую вереницу балетов – как сочиненных Новером, так и своих собственных. Вытеснил его с должности балетмейстера лишь Пьер Шевалье, однако по праву не таланта, но мужа одной из фавориток нового российского императора, Павла Петровича.

Что же касалось многогранной деятельности Ле Пика, то она окончательно утвердила на отечественной сцене балет нового типа – длительный, многоактный танцевальный спектакль со сквозной интригой, следовавший канонам героико-трагедийного либо волшебного-феерического жанра. В рамках именно этой традиции возрос целый ряд деятелей более поздних этапов развития российского балетного искусства, не исключая, в конечном счете, и гениального Петипа. А без балетной традиции представить себе как культуру, так и метафизику Петербурга решительно невозможно.

¹⁴⁰ Цит. по: Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. Эпоха Новерра. Л., 1981, с.260.

¹⁴¹ Умение исполнять высокие прыжки с длинным пролетом и фиксацией избранной позы.

Смольный – «русский Сен-Сир»

Еще одну сферу оживленных русско-французских контактов составляло воспитание и общее образование (высшее и профессиональное образование ставили у нас в основном немцы). Нам уже довелось отмечать выше, что обучение конкретному навыку – а именно, балльным танцам – объединялось тогда с усвоением основ светского поведения. Совершенно аналогичный принцип распространялся и на обучение основам гуманитарных наук, прежде всего французского языка. Так усвоение навыка – впрочем, какого там навыка! – искусства вести светскую беседу естественно вовлекало в свою орбиту общие знания из области литературы, истории и географии. Роль французских гувернеров и преподавателей, заметная в Петербурге уже елизаветинских времен, к концу века становится исключительно важной.

В соответствии с идеалами набиравшего силу Просвещения, образование у нас стало мало-помалу распространяться и на женщин. В связи с этим, нам представляется невозможным пройти мимо одного из самых знаменитых «петербургских проектов» эпохи Екатерины II – а именно, Воспитательного общества благородных девиц, открытого в 1764 году в помещении Смольного.

Образцом нового образовательного проекта было избрано получившее самую широкую известность в Европе учебное заведение Сен-Сир, издавна привлекавшее внимание и образованных русских дворян. Известно, что в бытность свою в Париже, Петр I посетил его и ознакомился с бытом, равно как организацией обучения французских девиц. Директрисой «русского Сен-Сира» была назначена одна из выпускниц Сен-Сира французского, вдова действительного статского советника русской службы, по имени Софи де Лафон¹⁴². Впрочем, Екатерина II придавала своему проекту исключительное значение и входила во все частности сама.

Намечая образовательную программу своего Общества, императрица постоянно писала к своим западным корреспондентам, среди которых были такие интеллектуальные звезды первой величины, как Вольтер и Дидро – и получала от них как комплименты, так и достаточно подробные советы. Оценивая первые результаты своего предприятия, Екатерина II писала Вольтеру: «Эти девицы, я в том должна вам признаться, превзошли все наши ожидания: они успевают удивительным образом, и все согласны в том, что они становятся столько же *любезны*, сколько обогащаются полезными для общества *знаниями*; а с этим они соединяют самую безукоризненную *нравственность*, однакож без мелочной строгости монахинь»¹⁴³.

В этом высказывании нашли отчетливое выражение как главные задачи нового образовательного проекта (выделенные нами курсивом), так и их сравнительная приоритетность. На первое место поставлены навыки светского обхождения, важные и для самой императрицы. Любимая французская поговорка Екатерины II, как известно, звучала: “Ce n'est pas tout que d'être grand seigneur, il faut encore être poli”¹⁴⁴.

На втором месте помещено общее образование. Действительно, в те годы русское общество уже встало перед необходимостью наполнить девицьи головки чем-то иным, помимо томных мечтаний, присущих ротарианским “têtes d'expression”¹⁴⁵.

¹⁴² Ее длительному управлению формально предшествовал довольно короткий период, в который начальницей была княжна А.С.Долгорукая.

¹⁴³ Цит. по: Хренов Н.А., Соколов К.Б. Художественная жизнь императорской России (субкультуры, картины мира, ментальность). СПб, 2001, с.649.

¹⁴⁴ «Быть вельможею недостаточно – надобно еще стать учтивым» (франц.).

¹⁴⁵ Имеем в виду серии непортретных изображений милых головок, которыми у нас снискал славу П.Ротари.

Наконец, на последнее место поставлена нравственность, определявшаяся не страхом Божиим, но философскими убеждениями – и, *entre nous soit dit*¹⁴⁶, отнюдь не обязательная при дворе Екатерины (при условии соблюдения надлежащего декорума).

Поставленная властями цель выработки женской личности нового типа была поначалу встречена обществом с изрядной иронией.

«Возможно ль дурочку в монастыре с шести
Годов воспитанну почти до двадцати,
Которая приход с расходом свесть не знает,
Шьет, на Давыдовых лишь гусях повирает,
Да по-французски врет, как чистый попугай,
А по-природному лишь только: ай! да ай!
Возможно ли в жену такую взять мне дуру!»

Так заявлял один из героев знаменитой комедии Василия Капниста «Ябеда», и автор цитированных строк был, в общем, с ним согласен¹⁴⁷. Жизнь – или, если уж быть совсем точными, «злая Купида¹⁴⁸» – посрамила обоих. Как хорошо напомнил в этой связи один из отечественных исследователей, «Капнист и его друзья – Н.И.Новиков, А.Н.Радищев, Г.Р.Державин и Н.А.Львов были женаты на смолянках»¹⁴⁹.

Точно так же в отечественной истории, «русский Сен-Сир» с годами лишь укреплялся и разрастался, составляя вплоть до падения «петербургской империи» если не образец, то один из немаловажных ориентиров в женском образовании и воспитании. Достаточно напомнить, что до конца XVIII века это учебное заведение окончило более тысячи трехсот девиц, лишь половина их коих были дворянками, другую же половину – представительницы «третьего сословия». Для тогдашней России это была достаточно значительная цифра. Помня об этом, не след забывать о французских корнях этого замечательного проекта, оставшегося, по нашему убеждению, все-таки недостаточно оцененным.

¹⁴⁶ «Между нами говоря» (франц.).

¹⁴⁷ Оговоримся, что комедия «Ябеда» была напечатана и поставлена на сцене уже в царствование Павла Петровича, хотя писана была в конце екатерининской эпохи (во всяком случае, до 1796 года).

¹⁴⁸ Так у нас в старые времена могли называть Купидона.

¹⁴⁹ Островский О.Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга (1703-1796). Курс лекций. СПб, 2000, с.195.

«Французская слобода» в Петербурге

Заново обращаясь к тому, что мы знаем о французских мэтрах в Петербурге XVIII столетия, следует подчеркнуть, что эмиграция или отъезд в Россию ни одного из них не нанесла заметного ущерба французской культуре. Более того, чаще всего она проходила вполне незамеченной. Вот как богата и разнообразна стала к тому времени культура прекрасной Франции!

С другой стороны, ни одному из приезжих мэтров – за очевидным и счастливым исключением Фальконе – не довелось внести решающего вклада в прогресс русской культуры. Даже и в области балета, на месте французской школы, вполне можно было бы насадить, едва ли не с теми же отдаленными последствиями, итальянскую школу¹⁵⁰ профессионального танца – работали же у нас и Антонио Ринальди, и Гаспаро Анжиолини! В общем и целом, для нас не составило бы труда представить себе поступательное – может быть, разве что немного более медленное – развитие любого из выделенных в предшествующем изложении искусств без участия приезжих французских специалистов.

Однако вообразить себе «петербургскую империю» первого века ее существования без оживленных, разносторонних русско-французских контактов было бы также решительно невозможным. Немалую роль в этом сыграло, вне всякого сомнения, ознакомление с поступавшими из Парижа журналами, увражами и партитурами, поступление которых с ходом времени стало постоянным. Ошибкой было бы забывать и о потоке менее важных, однако привыкших зарабатывать хлеб насущный своим ремеслом иммигрантов, которых исправно доставлял в петербургский порт едва ли не каждый корабль, бросавший в нем якорь после открытия навигации.

В литературе о старом Петербурге эта тема нашла себе некоторую разработку – впрочем, все больше в игривом плане. Заранее узнав о прибытии корабля, отцы семейства, а с ними и щеголи-петиметры съезжались на Биржевую набережную. «Специалисты по части прекрасного пола любовались хорошенькими розовыми личиками в соломенных шляпках, пугливо выглядывающими из маленьких окошечек трехмачтового корабля. Груз этот предназначался в лучшие барские дома и состоял их немок, швейцарок, англичанок, француженок, на известные должности гувернанток, нянек, бонн и так далее. Интересная пленница ждала своих будущих хозяев и полицейского чиновника для прописки паспортов»¹⁵¹.

Приезжие гувернантки и бонны, а кроме них, гувернёры и куафёры, учителя фехтования и верховой езды, танцмейстеры и повара, модистки и портные – наш список можно бы было продолжать при желании еще очень долго – разъезжались по предназначенным им квартирам на правом или на левом берегу непривычно широкой для европейского глаза Невы и пополняли состав «Французской слободы» раннего Петербурга. Мы поставили это важное для нас словосочетание в кавычки по той причине, что Французской слободы в строгом значении этого слова наш город, пожалуй, не знал.

В петровские времена, французские специалисты по корабельному делу селились на левом берегу Невы в непосредственной близости от Адмиралтейства, где чаще всего и работали.

Помимо того, «на другой стороне реки за дворцом князя Меншикова находится *французская улица*, на которой живут одни мастеровые – резчики, столяры и те, что делают фонтаны, а также те, что из олова и иных металлов выделывают разные вещи, но все это – для царя. В лавках есть такса, согласно которой продают все вещи. Имеются здесь и меха, и товары из

¹⁵⁰ Оговоримся, что единой итальянской школы, по сути, не существовало. Зато выделялись венецианская, миланская, падуанская и прочие итальянские школы.

¹⁵¹ Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990, с.432 (репринт второго издания 1889 года).

меди и железа. Полотна тут много, но оно узкое. Его требуется много, так как стены и потолки везде обиты полотном, иногда даже воощенным; также полотном обивают галереи и башни в итальянских садах и даже заборы вокруг садов. Пряжу, притом очень красивую, привозят из Москвы»¹⁵².

«Французская (или Французская) улица» была достаточно густо населена, в первую очередь выходцами из Франции. Она занимала на карте города пространство, которое примерно соответствует начальным участкам нескольких теперешних линий Васильевского острова, с первой – по четвертую¹⁵³. Что же касалось ее наименования, то историки первоначального Петербурга относят его к числу старейших топонимов нашего города; впоследствии оно не сохранилось¹⁵⁴.

К елизаветинским временам, окрестность Адмиралтейства вошла в новый центр города и подверглась достаточно плотной застройке, в связи с чем французские мастерские были отсюда постепенно вытеснены. Что же касалось окрестностей «дворца князя Меншикова», то его французское население сохранилось и даже несколько выросло. По этой причине, начальные и средние участки нескольких первых линий Васильевского острова и получили в обиходной речи жителей Петербурга того времени название «Французской слободы», о чем долго еще вспоминали авторы описаний Санкт-Петербурга¹⁵⁵.

Вполне доверять такому на первый взгляд однозначному топониму было бы опрометчивым. «Наличие лютеранских, а не католических церквей говорит о том, что и во Французской слободе, несмотря на название, немцев, видимо, было, как и во всем Петербурге, больше, чем французов», – подчеркивает один из ведущих исследователей демографической структуры старого Петербурга¹⁵⁶.

Здесь нужно оговориться, что среди франкоязычных приезжих из Западной Европы наверняка было некоторое количество протестантов, как лютеран, так и реформатов. Не случайно же в самом центре Петербурга, поблизости Невского проспекта открыта была объединенная Французско-немецкая реформатская церковь святого Павла, службы в которой, соответственно, проводились поочередно на немецком и французском языках¹⁵⁷. Сходное переселение много способствовало экономическому и культурному возвышению Пруссии вплоть до времен Фридриха Великого, что также нашло себе отражение в архитектуре немецкой столицы¹⁵⁸.

Вместе с тем, надо признать, что немецкое население действительно доминировало в структуре иноязычного населения Петербурга. Количество франкофонов у нас никогда не превышало цифры примерно от трех до четырех тысяч человек. В пользу этого положения свидетельствуют и статистические данные о прибыли населения во французско-немецком реформатском приходе, нашедшие себе место на страницах известнейшего описания «российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга», изданного в конце XVIII столетия

¹⁵² S.a. Краткое описание города Петербурга и пребывания в нем польского посольства в 1720 году / Пер. с польского // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. Л., 1991, с.142 (курсив наш).

¹⁵³ См.: Анисимов Е.В. Город и царь. Окончание // Звезда, 2003, №5, с.139.

¹⁵⁴ Никитенко Г.Ю. Официальные названия в топонимии Петербурга первой половины XVIII века // Феномен Петербурга. СПб, 2001, с.471-472.

¹⁵⁵ Ср.: Михневич В.О. Петербург весь на ладони. СПб, 1874, с.18.

¹⁵⁶ Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Вторая половина XIX – начало XX века. Статистический анализ. Л., 1984, с.107.

¹⁵⁷ Французско-немецкая реформатская община приобрела себе в 1732 году участок в начале Большой Конюшенной улицы, где и построила себе скромное деревянное здание. Через тридцать лет оно сгорело – затем, чтобы уступить место импозантному каменному зданию, построенному по проекту Ю.Фельтена в 1770-1773 годах. После нескольких переделок фасада, здание сохранилось до наших времен: теперь там помещается Шахматный клуб. Подробнее см.: Кириков Б.М. Улица Желябова (Большая Конюшенная). Л., 1990, с.50-51.

¹⁵⁸ Мы говорим о перекличке зданий Немецкого и Французского соборов, сформировавшего ансамбль прежней берлинской площади Жандарменмаркт.

Иоганном-Готлибом Георги: «Во Французском приходе бывает ежегодно от 8 до 10, а в Немецком от 18 до 25 крестников, да в первой около 100, а в последней около 250 причастников»¹⁵⁹.

С этими данными согласуются и оценки, основанные на источниках иного плана. В качестве примера, обратимся к событиям, произошедшим в самом конце екатерининской эпохи, когда, получив известие о казни короля Людовика XVI, царица распорядилась расторгнуть дипломатические отношения с Францией. Опасаясь быстрого распространения революционных идей, Екатерина II поспешила потребовать от французов, живших на русских землях, чтобы они принесли присягу на верность французской монархии, причем уведомление об этом торжественном акте, вместе с поименным перечнем всех присягнувших, надлежало опубликовать в местных газетах. Отказавшимся от присяги предписывалось в трехнедельный срок ликвидировать свое дело и покинуть пределы Российской империи навсегда.

Рассмотрев состав этих списков, отечественные исследователи С.Л.Турилова и Д.А.Ростиславлев пришли к выводу, что весной 1793 года к присяге было приведено примерно две с половиной тысячи человек, из них 829 – в Санкт-Петербурге, 940 – в Москве и Подмоскovie, и еще 655 человек – в провинции. Восемнадцать французов отказались принести присягу и были немедленно высланы¹⁶⁰. Приняв во внимание, что в Петербурге проживало немало еще говоривших по-французски лиц бельгийского или швейцарского происхождения, а также добавив к ним французов, принявших российское подданство, мы снова приходим к оценке численности петербургских франкофонов примерно в три-четыре тысячи человек.

В описаниях первоначального Петербурга, акцент обычно ставился на преобладании довольно простого, ремесленного населения василеостровской «Французской слободы», как это видно хотя бы по приведенной цитате из польского анонима. В конце века, Георги также отметил, что «французских купцов здесь мало, но тем более часовых мастеров, поваров, волоочесов и других художников и ремесленников, иные суть домашние учителя или слуги»¹⁶¹.

Не отрицая такого характера «слободы» вовсе, ошибкой было бы забывать и о том, что тут жило немало первостатейных деятелей культуры. Архивные документы свидетельствуют о том, что во «Французской слободе» жил главный архитектор петровского Петербурга – или, как выражались тогда, «городовой мастер» – Доминико Трезини. В течение некоторого времени, его соседом по дому был один из ведущих французских скульпторов, Никола Пино. Вместе они наняли для обучения своих детей некоего пастора Бонавентуру, которого тут же и поселили.

Недалеко отсюда, в пределах все той же «Французской слободы», поселился в собственном доме, полученном им в подарок от Петра I, и замечательный живописец, уроженец Марселя Луи Каравакк, оставивший благодарным потомкам портреты многих членов царской фамилии, а также и царедворцев.

Впечатления от живого общения с обитателями «Французской слободы», расселившимися с течением времени по пространствам «петербургской империи», внесли существенный вклад в формирование образа французов как культурных партнеров, сложившегося в менталитете россиян. Отнюдь не такие близкие, как немцы или поляки – мы говорим как о географическом положении соответствующих стран, так и психологическом строе их уроженцев – они пришлись к месту в нашей картине мира.

Легкие на подъем, влюбчивые, смешливые, живые, нередко поверхностные (во всяком случае, не склонные к натужным метафизическим раздумьям), острые на язык, знатоки и при-

¹⁵⁹ Георги И. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом / Пер. с нем. СПб, 1996, с.224 (перепечатка издания 1794 года). Цитаты из данного источника здесь и далее приводятся с незначительными изменениями правописания.

¹⁶⁰ Цифры приводятся по источнику: Черкасов П.П. Екатерина II и крушение Старого порядка во Франции (1789-1792) // Россия и Франция. XVIII-XX века. Выпуск 4. М., 2001, с.101.

¹⁶¹ Георги И. Цит.соч., с. 146 (оговоримся, что в данном случае автор говорит об иностранном населении Санкт-Петербурга в целом).

верженцы «бонтона»... Что там дальше? Мы даем эти характеристики лишь эскизно: читателю не составит труда их продолжить, а историку – иллюстрировать анекдотами и карикатурами. Ничего этого в русском национальном характере испокон веков не было – но в подсознании все эти черты присутствовали.

В соответствии с законами массовой психологии, соответствующие характеристики и были перенесены на носителей той культуры, которая для того больше других подходила. В результате этого, совсем непростого процесса французы заняли достаточное заметное место в картине мира, выработанной народным духом россиян «петербургской империи».

К следующему столетию, намечавшийся своеобразный характер нашего “Quartier Français”¹⁶² постепенно изгладился. Впрочем, как нам предстоит увидеть, части французского населения предстояло закрепиться в еще более престижном районе города, а именно в начальной и средней частях Невского проспекта.

¹⁶² «Французского квартала» (франц.).

Архитектурный текст Петербурга: «эпоха Леблona»

Генеральная линия разработки градостроительной структуры и архитектурного стиля «невской столицы» первого века ее существования начинается от петровского «раннего барокко», следует к елизаветинскому «высокому барокко» и завершается в екатерининском «строгом классицизме». Приняв во внимание те известные факты, что стиль классицизма достиг наивысшего развития во Франции, а французский национальный характер задолго прежде того склонялся в сторону классицистского мировоззрения, мы можем сказать сразу, что французское влияние на петербургскую архитектуру постепенно нарастало, чтобы достигнуть своего максимума к концу века.

«Во Франции я сам не был, где никакого украшения в архитектуре нет и не любят, а только гладко и просто и очень толсто строят и все из камня, а не из кирпича; о Италии довольно слышал», – писал Петр I после первой поездки в Европу одному из своих архитектурных пансионеров и продолжал: «Но в обоих сих местах строения здешней ситуации противные места имеют, а сходнее голландские... нигде на свете столько хорошего нет, как в Голландии и я ничего так не требую, как сего»¹⁶³.

Сходство географического положения и климатических условий продиктовало, таким образом, выбор главного архитектурного ориентира. Ближе к концу своего царствования, Петр I несколько изменил этот курс, на что повлиял целый ряд факторов, от славы французских зодчих – до блеска версальского двора. Летом 1716 года, по персональному царскому предложению в Петербург прибыл французский архитектор Жан-Батист Леблон.

В отличие от Трезини, не говоря уже о его помощниках, даже имен многих из которых история не сохранила, Леблон был звездой первой величины. Ученик и последователь великого Андре Ленотра, теоретик архитектуры, проекты которого вызывали неизменный благожелательный интерес европейской архитектурной элиты, полный еще сил (ему не исполнилось и сорока лет), Леблон искал места, где приложить свои силы и был готов к выполнению титанических задач. В Петре он увидел желанного суверена, который поможет ему совершить небывалое – и обессмертить свое имя.

Сам Петр I сразу же оценил, что за рыба зашла в его сети. В известном письме к Меншикову, он рекомендовал архитектора как «мастера из лучших», отнюдь «не ленивого, доброго и умного человека», и даже «прямую диковинку». Леблону был сразу же пожалован чин генерал-архитектора и невиданный оклад в пять тысяч рублей в год.

К великому сожалению, французскому мэтру довелось проработать в петровском «парадизе», равно как его окрестностях, немногим меньше трех лет. Помимо него, французских зодчих у нас тогда практически не было. И все же, несмотря на этот более чем короткий срок (учитывая недолгую продолжительность строительного сезона в наших местах), Леблону удалось наложить на ландкарту Петербурга печать, следы которой заметны и по сию пору.

Первой задачей Леблona стало составление генерального плана развития петровской столицы. План этот сохранился. Надо сказать, что он производит более чем странное впечатление. На земли в дельте Невы наложен идеально правильный овал с центром в восточной части Васильевского острова, поблизости от теперешней Библиотеки Академии наук. Не взирая ни на какие особенности рельефа, этот остров разграфлен на прямоугольные кварталы, изредка перемежаемые прямоугольными же площадями.

Так же была разлинована и западная часть Городового острова, часть которого внутри стен, окружавших «леблондов¹⁶⁴ парадиз», попросту не поместилась. Петропавловская кре-

¹⁶³ Цит. по: Заварихин С.П. Явление Санкт-Петербург. Архитектурные портреты. СПб, 1996, с.103.

¹⁶⁴ В соответствии с французским написанием фамилии архитектора (а именно, Le Blond), у нас так могли в старину

пость попала в район восточной границы города, утратив всякое градообразующее значение. Ну, а Ингерманландская сторона, за исключением Адмиралтейского острова, также была исключена из городской территории, приняв статус форштадта. При этом не были учтены наличие уже наезженных коммуникаций – к примеру, старейшей новгородской дороги, которая выходила к центру города в районе теперешней площади Восстания.

Сама городская структура должна была формировать менталитет его обитателей. Так, кладбища или больницы предлагалось вынести за городские стены. В центре оставлены были величественные административные здания, анфилады площадей, рынки с удобными подъездными путями, школы и небольшие стадионы для экзерциций юношества. По вечерам все это великолепие должно было освещаться при помощи единой системы уличных фонарей.

Регламентация всех сторон общественной и частной жизни входила, вне всякого сомнения, в любимые планы Петра Алексеевича. Но тут предлагалась уже совершенная утопия во вкусе «титанов Возрождения». Вдобавок к тому, для ее воплощения в жизнь надобно было скрыть или перестроить половину застройки, сложившейся уже в устье Невы. А ведь страна вела тогда тяжелейшую Северную войну, на которую уходило огромное количество денежных и людских ресурсов. Приняв во внимание эти соображения, весной 1717 года Петр I отверг леблов проект.

Новых утопий такого размаха у нас больше не планировалось. Вместе с тем, было бы ошибкой утверждать, что работа Леблona пропала ни за что. Он надолго остался на периферии внимания наших зодчих, и уже опосредованно, через их посредство, находил себе отражение в облике города. «Например, градостроительный прием взаимосвязи площадей составил основу ансамблевой застройки Петербурга эпохи классицизма. А приложенные к плану города чертежи «образцовых» домов после некоторой корректировки (проведенной по указанию царя, вероятно, самим Трезини) во множестве применялись не только на Васильевском острове, но и в других районах»¹⁶⁵.

Действительно, идея регламентации облика частных домов и принципов их расположения в ряд была едва ли не ключевой для Петра I. Именно так он надеялся выстроить в правильные шеренги и своих подданных, предварительно упорядочив и их внутреннюю жизнь... Образцы домов для лиц среднего или низкого достатка рисовал швейцарец (конечно, мы говорим о Доминико Трезини), «домá для именитых» проектировал француз.

«За основу дома «для именитых» Леблон взял наружный фасад отеля Бове в Париже, построенного Антуаном Лепортом в 1660 году. Крыша с переломом украшена люкарнами. Углы здания обработаны в руст – будто сложены из крупных каменных блоков, что придает всему строению массивный и значительный облик. В центре входная дверь. С каждой стороны ее по три пары больших окон, расположенных друг над другом. Фигурные консоли поддерживают балкон над парадным входом. Выйти на него можно из просторного зала через стеклянную дверь с закругленным верхом. Настоящий европейский дом»¹⁶⁶.

“Hôtel de Beauvais”, по сию пору стоящий в парижском квартале Марэ, на улице Франсуа-Мирон под номером 68, действительно обратил на себя внимание современников и послужил в качестве образца для многих зодчих¹⁶⁷. Не избежал такого влияния и наш Васильевский остров, не одна линия которого вскоре украсилась репликами парижского отеля. Сама же идея типизации, найдя себе самое убедительное выражение в проектах Трезини и Леблona,

произносить его фамилию.

¹⁶⁵ Заварихин С.П. Явление Санкт-Петербург. Архитектурные портреты. СПб, 1996, с.130.

¹⁶⁶ Овсянников Ю.М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси. СПб, 2000, с.125 (тут же приведен и рисунок леблнова «образцового дома»).

¹⁶⁷ Отметим для точности, что он был окончен постройкой в 1658 году. В следующем веке, в этом доме поселился маленький Моцарт, приехавший выступать при дворе. В глазах публики, это придало шарма старинной постройке.

надолго сохранила немаловажное значение для типового строительства «петербургского периода» в целом¹⁶⁸.

Нельзя не упомянуть и об участии французского архитектора в сооружении петергофского дворцово-паркового ансамбля. Как заметил в своем описании Санкт-Петербурга цитированный уже нами Иоганн Готлиб Георги: «*Петр Великий построил оный в 1711 году по начертанию архитектора Ле Блонд и заложил оба сада; после того украшен был оный во время всех Царствований*»¹⁶⁹. Составители многих путеводителей по окрестностям Петербурга, равно как и авторы многих научных трудов имеют обыкновение повторять даже по сей день, что *образцом петергофского комплекса стала Версаль*, вызвавший особенный интерес и подлинное восхищение Петра I в период его пребывания во Франции.

Две фразы, которые мы выделили курсивом в предыдущем абзаце, составили основу для одного из самых устойчивых петербургских мифов. Прежде всего, они не вполне соответствуют фактам. Известно, что общая идея петергофского ансамбля была высказана Петром I. К тому же, в 1711 году Леблон ему еще не был представлен и потому консультировать, тем более по такому важному вопросу не мог ни в устной, ни в письменной форме. Далее, стилевую основу Версаля составил французский вариант классицизма, в то время как петровский Петергоф был в общем и целом ориентирован на стиль голландского барокко.

И, наконец, оба ансамбля существенно различаются по своей глубинной семантической организации, граничащей уже с областью метафизических архетипов. «Версаль царит над землей. С высоты тройной террасы, на которой лежит дворец, всюду, куда ни взглянешь, видишь идеализированные земли, реки, поляны, пруды и леса – словом, материк. О море нет и помина. В Версале жил король французской земли. Вот почему и в те дни, когда не бьют фонтаны в Версале, – он не менее хорош, нежели когда они пущены», – проницательно писал в начале XX века А.Н.Бенуа, – «Петергоф – резиденция царя морей. Фонтаны для Петергофа – не придаток, а главное. Они являются символическим выражением водяного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа»¹⁷⁰.

Все это так. Дополнительные аргументы в пользу высказанной позиции читатель сможет легко почерпнуть хотя бы в цитированном только что замечательном труде Д.С.Лихачева, пересмотревшего и дополнившего аргументацию Бенуа. С другой стороны, образ Версаля навязчиво и неуклонно возникает всякий раз, когда мы приступаем к истории построения Петергофа, тем более – его семиотическим основаниям.

В известном письме к П.П.Шафирову, написанном и отправленном еще в 1706 году, Петр I требует немедленно приискать себе две книги – одну по «фонтанному делу», другую же «о огороде или о саду (в) Версалии короля Французского». В 1712 году, для царя приобретена была модель версальского сада. Во время пребывания в Париже в 1717 году, государь намеренно изменил программу визита – затем, чтобы уделить больше времени знакомству с Версалем¹⁷¹.

Примеры легко умножить, и это вполне объяснимо. Ведь для человека того времени, дворцово-парковый комплекс был едва ли не основной формой властного дискурса. Грамматику же этого дискурса задавал, несомненно, Версаль.

¹⁶⁸ См.: Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVII-XIX веках. М., 1987, с.23-36 (заметим, что в данном источнике участие Ж.-Б.Леблона в составлении проектов типовых зданий не упомянуто).

¹⁶⁹ Георги И. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом / Пер. с нем. СПб, 1996, с.518 (перепечатка издания 1794 года; курсив наш).

¹⁷⁰ Цит. по: Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. СПб, 1991, с.135 (курсив наш на месте авторской разрядки).

¹⁷¹ Более подробно см.: Лихачев Д.С. Цит.соч., с.142; ср.: О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году. Из записок герцога де Сен-Симона / Пер. с франц. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.148-149.

«Ленотр свои сады сажал для королей, -
А жизни королей торжественность пристала,
И должно, чтобы в ней все роскошью блистало:
Чтоб в подданных восторг и верность укреплять,
Сияньем золота их надо ослеплять»¹⁷².

Так, убедительно живо – хочется сказать, «по-французски легко», писал в конце XVIII столетия Жак Делиль, подводя итоги развития одной из ведущих линий садово-паркового искусства своей эпохи (его поэма была, кстати, выпущена в свет по случаю визита во Францию цесаревича Павла Петровича, путешествовавшего под именем графа Северного).

Что же касается элементов, непосредственно перенесенных Леблоном в состав петергофского ансамбля из арсенала выразительных средств Версаля, а также иных образцов дворцово-парковых ансамблей раннего классицизма, то они уже все сочтены. В самых общих чертах, это: «придание холмам и уступам правильной геометрической формы», «выравнивание плоских участков», «выпрямление берегов речек и водоемов, дополнение их фонтанами, искусственными прудами и каскадами», «система *боскетов* – зеленых стен кустов вдоль пересекающихся под прямым углом или расходящихся веером широких прямых аллей», «ранжирование деревьев по ширине кроны и высоте»¹⁷³.

Сравнив этот перечень с тем, что мы видим в натуре, приехав в Петергоф, можно с уверенностью сказать, что даже недолгая деятельность Леблona внесла существенный вклад в формирование «духа Петергофа». Обращаясь к архитектурному тексту и самого Петербурга, мы вполне можем на основании аргументов, представленных в этом разделе, говорить об «эпохе Леблona» в его развертывании – пусть даже заключив такое, формально не вполне оправданное выражение в кавычки.

¹⁷² Делиль Ж. Сады / Пер. с франц. И.Я.Шафаренко. Л., 1987, с.30.

¹⁷³ Островский О.Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга (1703-1796). Курс лекций. СПб, 2000, с.27 (курсив автора).

Архитектурный текст Петербурга: эпоха Растрелли

Зато об эпохе Растрелли мы можем говорить, не стесняя себя никакими кавычками – но, впрочем, не забывая, что он смог оставить после себя такие шедевры поистине мирового значения, как Зимний дворец, Смольный монастырь, Строгановский и Воронцовский дворцы, Большой Царскосельский дворец в огромной степени благодаря тому, что верно чувствовал общее направление развития архитектурного текста Петербурга, в значительной степени определившееся к его времени, а также мог бесконечно черпать из средств, щедро предоставлявшиеся ему повелительницей молодой процветающей империи¹⁷⁴.

Франческо Бартоломео Растрелли предпочитал именовать себя на французский манер – “François de Rastrelli”¹⁷⁵, был знаком с руководствами по строительному искусству, издававшимся во Франции, равно как и с общим направлением архитектурных вкусов этой страны. Это представляется нам вовсе не удивительным, в силу той простой причины, что французские зодчие пользовались на континенте безусловным авторитетом.

Наряду с этим, сам он предпочитал работать в стиле барокко, который был тысячью нитей связан как с психологическим складом, так и с пространственным мышлением итальянцев, а говоря шире – искусством и менталитетом католической (романской и южнонемецкой) Европы. Напротив, с точки зрения французской культуры, тяготевшей к классицистскому мировосприятию едва ли не искони, стиль этот виделся в середине XVIII столетия уже как излишне тяжеловесный, чересчур экспрессивный и вообще устаревший.

В силу представленных обстоятельств, Растрелли стал главным представителем нашего «елизаветинского барокко», причем влияние французской архитектуры осталось для его творчества явлением периферийным.

Едва только сформулировав этот вывод, нам приходится внести в него необходимые коррективы. Прежде всего, эмоциональность барокко и рационализм классицизма у нас уравнивали, сдерживали друг друга, сочетаясь в своеобразном, чисто уже петербургском синтезе. «Характерный для петербургской архитектуры диалог стилей потому и мог состояться, не превращаясь в конфликт, в полемику несовместимых образов, что барокко Растрелли умеряло свою жажду динамизма, пластической игры, украшенности каждой частички поверхности, а классицизм Ринальди снисходительно предоставлял место оживляющей плоскости орнаментальной лепнины»¹⁷⁶.

Кроме того, Растрелли доводилось и прямо следовать французским примерам – прежде всего, всегда привлекавшему российских государей, величественному и импозантному Версалию. Согласно желанию императрицы Елизаветы Петровны, по этому образцу, всего за пять строительных сезонов был сооружен ее деревянный Летний дворец¹⁷⁷. Он был построен в самом центре елизаветинского Петербурга, примерно на том месте, где был позднее возведен Михайловский замок, и представлял собой средоточие обширного садово-паркового ансамбля.

Если приближаться к главному фасаду дворца, который был обращен к Неве, то лучше всего было идти по центральной, прямой, как стрела, аллее Летнего сада. Путь был неблизкий: в 1717 году сад был перепланирован Леблоном по версальскому образцу, предусматривающему устройство правильных цветников, водометов, боскетов и боковых аллей, открывавших

¹⁷⁴ В более общем плане см.: Каганов Г.З. Петербург в контексте барокко. СПб, 2001.

¹⁷⁵ За исключением тех случаев, когда он прибегал к форме “фон Растрелли” – затем, видимо, чтобы его сановным патронам вроде Бирона или Миниха было понятнее.

¹⁷⁶ Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб, 1996, с. 112.

¹⁷⁷ Формально, он был заложен в недолгое пребывание у власти правительницы Анны Леопольдовны.

далекие перспективные виды¹⁷⁸. Наконец, открывался северный, главный фасад с огромными окнами тронной залы, расположенной в бельэтаже.

Южный фасад был еще больше похож на Версаль. Перед ним открывался обширный парадный двор, окаймленный боковыми флигелями, ступенями разворачивавшими его пространство по направлению к Итальянской улице и Невскому проспекту. Недоставало лишь конной статуи великого государя в середине этого просторного курдонёра. Заканчивался он узорчатой решеткой с изящными воротами, но въезд был снаружи фланкирован еще двумя корпусами – гауптвахты и кухни, как будто зодчий не в силах был остановить свой мощный архитектурный аккорд.

«Третий Летний дворец подражал Версалью. Давнишняя мечта основателя Петербурга осуществилась при его дочери», – заметил Ю.М.Овсянников и мрачно добавил: «Примечательно, что дворец просуществовал ровно столько же, сколько прожил сам Петр – пятьдесят три года»¹⁷⁹. Действительно, по стечению обстоятельств, территория, на которой был построен дворец, вошла в число «роковых мест» Петербурга, где сбываются старые заветы и исполняются предсказания.

Завершая наш разговор об эпохе Растрелли, грех было бы не упомянуть о строениях в стиле рококо. Спору нет: вкус этот прихотливый, капризный, камерный – во всяком случае, более уместный для отделки будуара, нежели для возведения фасада. Несмотря на такие, вполне естественные оговорки, и этому стилю довелось принять посильное участие в украшении Петербурга и пригородов. Достаточно упомянуть об очаровательном Эрмитаже – разумеется, не том Эрмитаже, что так убедительно выведен в камне на берегу Невы, но об ином, почти спрятанном за деревьями старого царскосельского парка.

Мода на «убежища отшельника» пришла к нам из Франции – равно как и само это слово (Ermitage). Действительно, что могло лучше выразить дух французского двора времен Регентства, а потом и Людовика XV, чем слова «После нас – хоть потоп» и изящные «эрмитажи», в изобилии появившиеся в парках едва ли не всех potentatov Европы.

Елизаветинский Эрмитаж был совсем камерным, двухэтажным, с двенадцати окнами-дверями, выходивших на балконы – и, должно быть, смотрелся среди чащи особенно незащищенно, особенно когда его крыша была так наивно окрашена в белый и зеленый цвета. Тем не менее, составляя известный перечень лучших своих работ, великий Растрелли отнюдь не забыл об этом, загородном Эрмитаже. Напротив, он с некоторым преувеличением аттестовал его как «большое прекрасное каменное здание». И это было вполне справедливо – ведь в мирозерцании рококо величественным считалось не массивное, но изящное.

Впрочем, в таком стиле у нас строились и большие здания. Классическим образцом может служить облик знаменитого «Фонтанного дома», поставленного в Петербурге трудами архитекторов Аргунова и Чевакинского.

Стилевая система рококо охотно отводила место и милым причудам в экзотических формах – готическо-рыцарских, турецких, но прежде всего китайских. Из зданий, построенных в этом вкусе, стоит упомянуть о «Китайском дворце» в Ораниенбауме и, разумеется, о «Китайской деревне» в Царском Селе.

Россия граничила с Китаем и имела с этой страной достаточно оживленные торговые отношения. Однако же мода на все китайское пришла к нам не с востока, а с запада, и именно из Франции. Напомним, что наступление нового, восемнадцатого века решено было отпраздновать при версальском дворе «в китайском вкусе» – то есть устроив бал-маскарад с использованием соответствующих одежд и украшений.

¹⁷⁸ Общее представление об этом «рукотворном ландшафте» поможет составить известная гравюра А.Зубова, созданная в 1717 году. Подробнее см.: Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. М., 1988, с.49-51.

¹⁷⁹ Овсянников Ю.М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси. СПб, 2000, с.262.

Теоретики рококо подхватили этот наметившийся интерес и разработали на его основе своеобразный «малый стиль», который и получил название «шинуазри»¹⁸⁰. Вот почему под масками «китайских мудрецов», якобы разработавших милый, такой эфемерный стиль, в котором построены были как ораниенбаумские, так и царскосельские пагоды, скрываются все те же, хорошо знакомые европейскому бомонду, улыбающиеся лица французских декораторов и архитекторов¹⁸¹.

¹⁸⁰ То есть «китайщины», от французского “chinoiserie”.

¹⁸¹ Здесь нужно оговориться, что названные нами строения были возведены в пригородах Петербурга трудами Ринальди и, соответственно, Камерона уже в царствование Екатерины II – а следовательно, в общем контексте укреплявшегося классицизма, хотя и следовали канонам исторически и типологически более раннего «шинуазри».

Архитектурный текст Петербурга: «екатерининский классицизм»

В конце елизаветинского царствования Франческо Бартоломео Растрелли постигла довольно чувствительная творческая и придворная неудача. Власти приняли решение прекратить возведение нового здания Гостиного двора на Невском проспекте, следовавшего «плану и показанию обер-архитектора графа де Растрелли». Более двух лет продолжалась эта огромная стройка, долженствовавшая преобразить облик главной улицы «невской столицы», немало денег было вложено в нее столичным купечеством, многое было завершено вчерне. Тем не менее, весной 1761 года выгодный и престижный заказ решено было передать другому архитектору.

Одним из решающих аргументов было превышение сметы, обычное во все времена для большого строительства. Наряду с этим фактором, был и другой. На смену барокко шел новый «большой стиль» – классицизм, а власти желали идти в ногу со временем.

Как у нас было заведено с Петра I, новшества проходили обкатку и переосмысление в Петербурге, а после того в приказном порядке распространялись по территории империи. «Многочисленные типовые проекты элементов городского благоустройства издавались печатным способом и рассылались на места так же, как и типовые проекты жилых и каменных зданий. Чертежи сопровождались описаниями, большинство из которых было впоследствии опубликовано в Полном собрании законов Российской империи»¹⁸².

Здания проектировались в простых, строгих пропорциях; фасады окрашивались в бледные, приглушенные цвета. Барочная лепка была решительно устранена; главным украшением фасадов вновь стали колонны. При этом они играли весьма конструктивную роль, неся тяжесть перекрытий и выделяя объемы портиков. Соединив сдержанное благородство и строгую дисциплину, классицизм изумительно соответствовал духу «петербургской империи», и именно в силу этого факта стал первым подлинно «петербургским стилем».

Помимо образцовых архитектурных проектов, по просторам страны распространялось много других нормативных текстов, от царских указов – до армейских уставов и школьных учебников. В их задачу также входило установить единомыслие, пронизать все сферы общественной, равно как и частной жизни общими принципами государственной идеологии. На первое место выдвигалось подчинение чувств – разуму, а разума – государственным целям. Частное ставилось на службу общему, а общее подвергалось неукоснительной регламентации на основе канонов, априорно признанных идеальными. Таковы были доминанты личности человека «петербургского периода», впервые сложившейся на берегах Невы в екатерининскую эпоху и получившей здесь несколько позже наиболее полное свое выражение.

Как видим, этика шла руку об руку с эстетикой, и обе направлены были на решение одной, чрезвычайно масштабной задачи. Конкретные ориентиры при этом могли меняться, однако живым образцом для творчества мастеров классицизма всегда оставалась Франция. «Это сказывалось и на приглашении иностранных мастеров. Так, в первые годы царствования Екатерины II ее симпатии были на стороне французов. Затем она отдала предпочтение итальянцам, чему свидетельство – приезд Джакомо Кваренги. Среди профессионалов же французская Академия искусств, архитектурные мастера Парижа безоговорочно признавались вершителями современного стиля»¹⁸³.

Нужно оговориться, что честь выработки нового стиля принадлежала отнюдь не только французам. Новое обращение к эстетическим идеалам античности в середине XVIII стало

¹⁸² Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVII-XIX веках. М., 1987, с.177-178.

¹⁸³ Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II. Барокко-классицизм-неоготика. М., 1994, с.60.

общеевропейским движением. Один из его духовных лидеров, немец Иоганн Иоахим Винкельман сформулировал в 1755 году свое знаменитое положение: «Единственный путь для нас стать великими, а если возможно и неподражаемыми – это подражать древним». В те годы пылкая молодежь уходила в изучение памятников греческой или римской античности так, как в недавнее время уходили в рок-музыку.

Все это так. Однако же тяготение к принципам классицизма обнаружилось у французов задолго прежде того, как эта мода приобрела всеевропейские размеры. Как отмечают историки архитектуры, основополагающее для «классического вкуса» стремление к сдержанности, четкости и простоте, равно как ориентация на классические образцы прослеживается в облике лучших творений французских зодчих уже с 1650 года, то есть на столетие до того, как мода на этот вкус пришла к нам. Не вызывает сомнения, что помимо чисто стилевых пристрастий тут нашли себе отражение доминанты французского характера с его трезвым рационализмом и эмоциональной уравновешенностью.

Связи отечественной архитектуры с французской стали к екатерининским временам обширными и многообразными. В 1759 году, близкий родственник и любимый ученик самого Жака-Франсуа Блонделя, по имени Жан-Батист Валлен-Деламот, переселился в Россию и принял пост профессора петербургской Академии художеств. Мы говорим о «самом Блонделе», поскольку авторитет, которым пользовался в среде теоретиков и практиков классицизма этот профессор Королевской Академии архитектуры был поистине непререкаемым.

Именно Валлен-Деламоту через два года после его переезда в Петербург доверено было выстроить новое здание Гостиного двора, без существенных переделок дошедшее до наших дней. Недалеко от Гостиного, на другой стороне Невского проспекта, также немного отступя от «красной линии», ему довелось в соавторстве с А.Ринальди выстроить еще одно, меньшее по размерам, но весьма импозантное здание костела св.Екатерины. Этот костел сразу стал центром достаточно влиятельного в Петербурге католического прихода, в составе которого всегда было немало французов (хотя поляки, конечно, преобладали).

Еще одним проектом, в выработке и воплощении которого Валлен-Деламоту довелось принять самое деятельное участие, стало здание Академии «трех знатнейших художеств» – живописи, скульптуры и архитектуры. Французский мэтр проявил себя, кстати, не только как деятельный практик, но и как прекрасный педагог. Среди его учеников исследователи называют прежде всего имя создателя Таврического дворца – Ивана Егоровича Старова.

Такое положение вполне справедливо, несмотря на тот факт, что к приезду Валлен-Деламота, молодой русский зодчий уже завершал свое образование¹⁸⁴. В свою очередь, направившись за государственный счет в Париж для усовершенствования в своих познаниях, Старов сразу направился к коллеге Блонделя по королевской Академии архитектуры, по имени Шарль де Вайи, и стал посещать его классы.

Пятилетнее пребывание в Париже со временем принесло свои плоды. В облике зданий, выстроенных Старовым по возвращении на родину – прежде всего, уже упомянутого Таврического дворца, поистине эталонного для отечественного «строгого классицизма» – различаются отчетливые цитаты из французского зодчества, подвергнутые творческому переосмыслению и переработке.

Схожие впечатления возникают и при изучении наследия такого мастера петербургского классицизма, как Джакомо Кваренги. Признавая ведущую роль, которую в формировании его творческого метода суждено было сыграть итальянской традиции, историки архитектуры указывают и на значение более близких по времени французских образцов. Так, в облике Эрмитажного театра, поставленного на берегу Зимней канавки в 1783-1787 годах, прослеживается ориентация не только на ярко палладианский «театр Олимпико» в Виченце, но и на проект

¹⁸⁴ См.: Кючарианц Д.А. Иван Старов. Л., 1982, с.6-7.

более камерного домашнего театра актрисы Гимар, выполненный парижским архитектором К.Леду¹⁸⁵, и этот пример – далеко не единственный.

Одним словом, не умаляя безусловной самостоятельности и зрелости, проявленных петербургскими зодчими эпохи как раннего, так и «строгого классицизма», мы не должны забывать и о том, что их вкус испытал большее или меньшее, однакоже неизменно благотворное воздействие французской архитектурной школы.

¹⁸⁵ Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II. Барокко-классицизм-неоготика. М., 1994, с.73.

«Медный всадник»

«Предположение русской императрицы создать памятник Петру Великому заслуживает одобрения всех наций, а выбор ее для работы Фальконе делает столь много чести французским художникам, что я буду способствовать всеми силами его осуществлению, поскольку это от меня зависит», – писал летом 1766 года российскому послу директор королевских строений маркиз де Мариньи¹⁸⁶. Действительно, французские власти сделали все, что от них зависело для того, чтобы известнейший парижский скульптор Этьен-Морис Фальконе в самые сжатые сроки подписал контракт, получил заграничный паспорт и выехал в Россию с целью создания памятника Петру I.

Идея сооружения монумента витала в воздухе с петровских времен. Историкам известны целый ряд карт, перспективных изображений и описаний, созданных как в нашей стране, так и за рубежом в начале и середине XVIII столетия, на полях которых изображен реально не существовавший, однако желательный – или, как сейчас говорят, виртуальный – памятник Петру Великому, чаще всего в виде конной статуи. Почти все приезжие французские мэтры, о которых нам довелось говорить в предшествующем изложении – прежде всего, Леблон, Пино, Жилле, Валлен-Деламот – оставили после себя эскизы такого монумента, иной раз недурно проработанные.

Нужно сказать, что все эти замыслы были отнюдь не оригинальны. Установка в престижных местах, нередко на центральных площадях, конных памятников славным деятелям прошлого, а то и настоящего, представляла собой в ту эпоху едва ли не самый популярный способ формирования монументального «текста города»; впрочем, с тех лет мало что изменилось. Во Франции классическими образцами таких памятников могли послужить конные монументы Людовику XIV и его правнуку Людовику XV, выполненные соответственно Ф.Жирардоном и Ж.-Б.Лемуаном. Последний был, кстати, учителем Фальконе и постоянным его корреспондентом.

Портретная статуя Петра I на коне, хорошо соответствовавшая канонам этой традиции, вполне утвердившейся в европейском искусстве, была к тому времени, собственно, уже создана. Мы говорим, разумеется, о монументе, выполненном Бартоломео-Карло Растрелли, отливка которого была благополучно проведена под наблюдением его сына к концу 1740-х годов. Несмотря на это, памятник решено было не устанавливать, поскольку стиль его воспринимался Екатериной II и ее современниками как безнадежно устаревший. Эпоха Просвещения требовала новых подходов к традиционной теме.

Фальконе и был избран не только по той причине, что его профессиональная квалификация не вызывала сомнений, но и потому, что он был свой человек в среде французских просветителей. Более того, ему довелось принять участие в качестве соавтора в создании одного из их важнейших интеллектуальных проектов, а именно «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», каждая строка которой была написана или отредактирована так, чтобы нанести наибольший урон феодальному строю. В 1759 году, Энциклопедия была запрещена к публикации и распространению во Франции, что лишь подогрело общественный интерес к ней и, как мы видим, не помешало Фальконе делать профессиональную карьеру.

Энциклопедисты в один голос рекомендовали русской царице своего друга и сотрудника. «Вот гениальный человек, полный всяких качеств, свойственных и несвойственных гению. В нем есть бездна тонкого ума, деликатности и грации: он мягок и колок, серьезен и шутилив, он философ, он ничему не верит и не знает почему», – писал Екатерине II барон Гримм, пере-

¹⁸⁶ Цит.по: Каганович А.Л. «Медный всадник». История создания монумента. Л., 1975, с.28. Цитаты, не оговоренные специально в дальнейшем тексте настоящего раздела, приводятся по указанному источнику.

давая отзыв Дидро о Фальконе и продолжал: «Он лепит глину, обрабатывает мрамор и в то же время читает и размышляет. Этот человек думает и чувствует с величием». Выделенные нами в предыдущей цитате слова передают высшую оценку, которая возможна была в кругу «новых людей».

Весьма существенным для нашей темы представляется то, что общая мысль монумента возникла у Фальконе еще в Париже. В дальнейшем он упорно придерживался ее, обращая мало внимания на многочисленные критические отзывы и рекомендации окружающих, не исключая самой императрицы. В одном из писем к Д.Дидро, он вспоминал тот врезающийся в его творческое сознание, поистине судьбоносный день, «... когда я набросал на углу Вашего стола героя и его коня, перескакивающего через эмблематическую скалу, и Вы были довольны моей идеей». Поскольку Э.-М.Фальконе до того не бывал в России и знал о Петре I лишь их французских источников вроде упоминавшейся нами уже вольтеровской Истории, нам остается признать, что замысел славного монумента целиком принадлежал руслу французской культуры эпохи Просвещения.

Нужно оговориться, что вкусы самих просветителей были довольно традиционными. К примеру, Дидро представлялось уместным устроить фонтаны в толще постамента, бассейн у его основания и поместить аллегорические изображения как посрамленного варварства, так и осчастливленного народа у краев такового. Какое счастье, что Фальконе послушался друга и не одарил петербуржцев этакой, с позволения сказать, достопримечательностью!

При всем том, нельзя сказать, чтобы идея предельного упрощения, сжатия образа до ядерной, почти что архетипической плотности, нашедшая себе полное воплощение в знаменитом нам памятнике, установленном 7 августа 1782 года на Сенатской площади¹⁸⁷, решительно уклонялась от идеалов французского Просвещения. Она просто облагораживает их, возвышая до той разреженной области духа, где может свободно дышать только прирожденный гений.

Любопытно, что в известном письме к Дидро, Фальконе следовал двум принципиально различным линиям аргументации при защите своего проекта. С одной стороны, он считал необходимым убавить поэзии, чтобы сосредоточить внимание на образе «творца, законодателя, благодетеля своей страны». С другой стороны, скульптор отметил, «... что Петр Великий сам себе сюжет и атрибут: остается только его показать».

Первое суждение – эстетическое; оно подразумевает отказ от излишнего украшательства, естественного для мастеров эпохи барокко, которое стало предосудительным для скульпторов, работавших в парадигме классицизма. Но если бы Фальконе верно следовал канонам классицизма, то Петербург получил бы нечто совсем другое, ближе всего стоящее по стилю к безупречно корректной Александровской колонне¹⁸⁸.

Кстати, в дальнейшем сравнение обоих памятников стало у нас общим местом – и отнюдь не всегда в пользу грозного “Cavalier d'airain”¹⁸⁹. К примеру, такой тонкий ценитель искусства, как В.А.Жуковский, писал в 1834 году, что грубость фальконетова произведения может быть оправдана разве что тем первобытным состоянием, в котором Отечество пребывало в эпоху Петра. Вот монферранова колонна – другое дело, она стройна и искусно округлена, как и сама страна, обработанная и выпрямленная благодетельным самодержавием...

Второе из процитированных нами суждений Фальконе – по сути, семиотическое. Образ Петра I представлялся его творческому сознанию наподобие гигантского иероглифа, составлявшего своего рода «ядерный текст», в котором сплелись неразрывно семантика, синтактика

¹⁸⁷ Точнее сказать, на Петровской площади. Как известно, наименование «Сенатская» было в ту пору неофициальным.

¹⁸⁸ С учетом естественной разницы во времени: монферрановская колонна была установлена в 1834 году и в своем облике следовала уже канонам стадияльно более позднего, «высокого классицизма».

¹⁸⁹ Так звучит прозвище нашего Медного всадника по-французски (нередко встречается и синонимичное словосочетание “Cavalier de bronze”).

и прагматика – текста, который можно читать всю жизнь, преобразуя свою личность, открывая все новые смыслы и разворачивая их без конца применительно к новым условиям.

Надо сказать, что присутствие этого, чисто метафизического слоя отнюдь не прошло мимо внимания проницательных современников скульптора. «Я считал Фальконета всегда очень талантливым и твердо был убежден, что он создаст великолепный монумент русскому царю, но то, что он создал, превзошло все мои ожидания», – писал старый учитель французского гения, Ж.-Б. Лемуан, по получении от Фальконе небольшой модели его творения; этот благоприятный отзыв легко дополнить другими, более пространными.

Проблески понимания подлинного значения монумента прослеживаются также в текстах, написанных русскими литераторами – к примеру, в известных «Надписях к Камню-грому, находящемуся в Санктпетербурге в подножии конного вылитого лицеподобия досто-славного императора Петра Великого», опубликованных Василием Рубаном отдельным изданием по случаю открытия монумента в 1782 году.

Кстати, нужно заметить, что надпись на пьедестале сама по себе представляет шедевр отечественной словесности. Как известно, она также представляет собой плод русско-французского творчества, следовавшего линии максимального упрощения. В самом начале, текстом ее озаботился Д. Дидро и предложил Фальконе следующий вариант: «Петру Первому посвятила памятник Екатерина Вторая».

Далее, надписью занялся сам автор памятника и общих черт принял дидеротову мысль, разве что несколько сократив ее: «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая».

Наконец, за перо взялась сама Екатерина II, которой представилось наиболее целесообразным просто вычеркнуть среднее слово (пользуясь тем, что как латинский, так и русский язык располагают формами именительного и дательного падежа, что позволяет без лишних слов различить ктитора (дарителя) и его адресата). В итоге, на постаменте остались по четыре латинских и русских слов, вместе с обозначением даты заключившие в себя магистральную линию русской истории XVIII столетия – века Петра и Екатерины.

Однако же до создания вербального текста, конгениального пластическому образу, созданному Фальконе, оставалось ждать еще около полувека. Мы говорим, разумеется, о «Медном всаднике» А.С.Пушкина. Подзаголовок поэмы звучал для читателей того времени достаточно странно: «Петербургская повесть» – едва ли не так же странно, как выглядел монумент Фальконе в глазах его первых критиков.

В искусствоведческой литературе можно встретить утверждение, что Этьен-Морис Фальконе добился несомненной удачи и, по всей видимости, создал лучшее монументальное произведение XVIII века – однако ему не удалось основать традиции. Такое суждение представляется разумным по чисто формальным соображениям, однако неосмотрительным «с точки зрения вечности».

Найдя себе продолжение в пушкинской поэме, памятник стронул с места лавину «петербургского текста», составившего метафизическую основу одной из великих ветвей мировой литературы. Косвенное влияние, которое оказало присутствие «Медного всадника» на творческое мышление петербургских архитекторов, также невозможно переоценить.

Таким образом, если наш город располагает зримым изображением своего основателя и «духа-хранителя», равно как людьми, продолжающими слышать своим «тайным слухом» его продолжающуюся речь, мы обязаны этим гению французского скульптора – равно как и многочисленным русским, которые вникли в его замысел и способствовали его воплощению в меди, камне и слове.

Французское просвещение в Петербурге первой половины XVIII века

«Неслыханная честь, которую русские люди оказывают нашему языку, должна нам дать представление о том, с каким воодушевлением творят они на своем собственном, и заставить нас краснеть за все те пошлые писания, от которых не спастись в наш гнусный и нелепый век. Легкомыслие, столь стремительно пришедшее у нас на смену варварству, множество безвкусовых писаний в прозе и стихах, которые нас одолевают и бесчестят; нескончаемый поток литературных новостей и ежегодников, этих лексиконов лжи, продиктованных голодом, неистовой злобой и лицемерием; все это должно показать нам, сколь мы вырождаемся, тогда как иностранцы, совершенствуясь с помощью наших лучших образцов, нас же и учат. И это отнюдь не единственный урок, который преподнес нам Север»¹⁹⁰.

Так писал в середине 1770-х годов бесспорный «властитель дум» читающей и мыслящей публики как Франции, так и всей Европы Вольтер – литературный и общественный деятель, достаточно уже знаменитый, чтобы прибегать к лести, тем более применительно к иностранному литератору. Под Севером в приведенной цитате следует понимать Россию, а под уроком – появившееся незадолго до этого во французской печати стихотворное «Послание к Нинон Ланкло», принадлежавшее перу русского поэта графа Андрея Шувалова (родственника елизаветинского фаворита и ломоносовского покровителя).

Весьма пространный текст шуваловского Послания, занимавшего более ста пятидесяти строк) был написан с таким литературным мастерством, что парижские литераторы того времени буквально отказывались верить, что он был от начала до конца написан человеком, который родился и вырос не во Франции. Более того, обратив внимание на то, что в тексте Послания были рассыпаны тонкие похвалы уму и таланту Вольтера, некоторые французские публицисты предположили, что автором стихов сам он, Вольтер, и был!

Выходило так, что стареющий мэтр, отнюдь не насытившись похвалами, которые пела ему вся Европа, решил выступить сам, на этот раз под маской «мудрого скифа» – с тем, чтобы добавить елзя своему гению – и надеялся, что публика этого не заметит. Такое предположение было для Вольтера уже просто обидным и даже опасным, так что его пришлось спешно опровергать, замечая, что он принимает безропотно похвалы русского графа только затем, чтобы не обидеть чистосердечного друга.

Положим, шуваловские поэтические экзерсисы погоды в русско-французских культурных контактах не делали. Во все времена у нас находились аристократы, у которых было достаточно средств, чтобы подолгу жить в Париже, возвращаться там в литературных кругах и печатать свои французские сочинения за собственный счет. Однако же стоит заметить, что приведенные слова Вольтера сказаны на счет не одного «благородного гиперборейца», но «русских людей», оказывавших «неслыханную честь» его языку.

О целом народе речь в данном случае не шла. Но применительно к образованным людям – прежде всего, к русским дворянам – высказывание Вольтера было вне всякого сомнения справедливым. В течение всего XVIII столетия мы видим непрерывное нарастание интереса к французскому языку и культуре на территории всей России – и прежде всего, в Санкт-Петербурге, где культурные процессы, базовые для «петербургской цивилизации», разворачивались в опережающем и многократно усиленном порядке.

«Итак, перед нами не билингвильность, а двуязычие культуры (вернее, диглоссия): определенные сферы русской культуры интересующей нас эпохи могут обслуживаться только фран-

¹⁹⁰ Цит. по: Заборов П.Р. Русско-французские поэты XVIII века // Многоязычие и литературное творчество. Л., 1981, с.79.

цузским языком и моделироваться преимущественно средствами французской литературы», – заметил Ю.М.Лотман в работе, специально посвященной примерно столетию от царствования Анны Иоанновны до времени Николая I, которое он определил как эпоху наиболее интенсивного развития франкоязычной ветви русской литературы¹⁹¹. Стоит заметить, что и за пределами таких сфер культуры французское влияние было таким сильным, что его невозможно переоценить.

Процесс распространения французского языка и культуры был у нас постепенным; он начался еще в петровские времена. С одной стороны, основная ориентация была, как известно, взята на Голландию, Англию – вообще, протестантские страны Северной Европы. С другой стороны, Франция виделась как перспективный культурный партнер и одна из наиболее сильных стран европейского континента. Как следствие, документы петровского времени отражают некоторое колебание относительно того, каким языкам давать приоритет при образовании российского юношества.

К примеру, в известном нартовском собрании «Достопамятных повествований и речей Петра Великого», под номером 104, читаем, что «надобными для России языками почитал он голландский и немецкий. «А с французами, – говорил он, – не имеем мы дела»¹⁹². Рассказ приурочен к 1716 году. Между тем, уже в 1703 году, в инструкции по обучению наукам и искусствам царевича Алексея Петровича, французский определен «паче всех языков легчайшим и потребнейшим».

Такая ориентация была подтверждена и в «Расположении учений его Императорского величества Петра II»: «Новые или так называемые живые языки употребляются к обходительству, и сие за украшение почитается, когда кто чужие языки знает... между ныне употребляемыми языками без сомнения немецкий и французский ради их почти общего употребления великое перед прочими первенство имеют»¹⁹³.

В продолжение «аннинского десятилетия» позиции немецкого языка значительно укрепились, что было естественным следствием перехода на русскую службу и переселения в столицу курляндских, ливонских и прочих немцев, осознанного в народе как «немецкое засилье». Вместе с тем, современники отмечали, что французский язык нашел себе достаточно широкое распространение в речи как постоянных, так и временных жителей Петербурга.

«В моей квартире жила вдова одного английского купца, сыну которой всего двенадцать лет, но он вполне хорошо, хотя и неправильно, говорил на восьми разных языках, а именно английском, французском, голландском, шведском, русском, польском, ливонском и финском. Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: “Monsieur, Paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken. Isvollet, Baduska”. Это должно означать: «Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка!»... В Петербурге надо ежедневно воспринимать с серьезным лицом забавные истории, которые рассказывают о говорящих по-немецки и неверно переводящих слова французах; например, маленькую овечку они называют «мадемуазель овца» и т.п.»¹⁹⁴.

¹⁹¹ Лотман Ю.М. Русская литература на французском языке // Idem. Избранные статьи в трех томах. Том II. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. Таллин, 1992, с.354 (статья была написана в 1988 году).

¹⁹² Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.301 («он» – это, конечно, Петр I).

¹⁹³ Цит. по: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. М., 1938, с.58.

¹⁹⁴ Педер фон Хавен. Путешествие в Россию / Пер. с датского // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб, 1997, с.360.

Положим, мемуарист немного сгустил краски при описании нашего «северного Вавилона». Однако характерное для тогдашнего Петербурга смешение языков, равно как участие в нем носителей французского языка, было им передано в общих чертах верно.

Как нам уже доводилось отмечать выше, французов было тогда в городе отнюдь не так много, как, скажем, немцев. Но тут нужно принять во внимание, что французский язык стал уже языком международной дипломатии и торговли и продолжал укреплять свои позиции. Поэтому его естественно было использовать в качестве «языка-посредника» при общении между носителями разных языков, то есть в тех ситуациях, которые фон Хавен и описывал.

Французское просвещение в Петербурге второй половины XVIII века

Решительный поворот к галломании произошел у нас в царствование Елизаветы Петровны. Императрица, которую в свое время прочили в невесты Людовику XV, порядочно знала по-французски, уделяла своему французскому танцмейстеру едва ли не столько же времени, сколько русскому духовнику и положила играть при дворе каждый четверг какую-либо из многочисленных французских комедий¹⁹⁵.

Книжные премудрости при дворе пока мало ценились, но именно в это царствование на отечественном книжном рынке произошла маленькая революция. Французская книжная продукция, до тех пор уступавшая на прилавках наших книгопродавцев как по числу заглавий, так и по количеству проданных экземпляров книгам на немецком и латинском языках, теперь вышла на первое место¹⁹⁶.

Между тем, деятельность французских просветителей была в самом разгаре, и главная ставка ими делалась на распространение разнообразной и злободневной книжной продукции. Так, первые два тома подготовленной ими Энциклопедии, представлявшей собой то, что без всякой натяжки можно назвать «проектом века», уже в 1753 году можно было купить в Петербурге. Между тем, в самой Франции они вышли в свет за год-два до этого и сразу попали под цензурный запрет.

Двадцатитомное собрание сочинений Вольтера, напитанное новыми идеями до краев, было выпущено в свет в Женеве в 1759 году, и также без промедления появилось в продаже у нас. Необходимо учесть и то обстоятельство, что в области книгоиздания французский язык также принял на себя роль европейского «языка-посредника». Как следствие, журналы и книги, издававшиеся в других странах – скажем, в Англии или в германских землях – быстро переводились на французский язык (а иногда сразу на нем и писались), выпускались в свет и в этом виде, как правило, доходили до русской читательской аудитории.

Доктрины французского Просвещения были у нас приняты к руководству в екатерининскую эпоху, а «просвещенный абсолютизм» занял на известное время место государственной идеологии. В 1767 году, императрица путешествовала по Волге, знакомясь с состоянием внутренних областей своего государства. Труды были многообразны; что же касалось досугов, то их решено было наполнить переводом одной из новых французских книг, трактовавших образ идеального государя¹⁹⁷. Перевод был распределен между Екатериной II и ее ближайшими приближенными. Самое любопытное, что эта работа была завершена в намеченные сроки и выпущена в свет в следующем году.

В надежде снискать уважение просветителей, царица вступила в переписку с их признанными лидерами – Вольтером, Дидро, Гриммом. Ведь лестный отзыв французского философа ценился в ту эпоху значительно выше, нежели похвала какого-нибудь немецкого князя. Рас-

¹⁹⁵ Основываемся на записях в камер-фурьерском журнале за 1747 год.

¹⁹⁶ О положении франкоязычных книг на отечественном книжном рынке подробнее см.: Французская книга в России в XVIII веке. Л., 1986.

¹⁹⁷ Мы говорим, разумеется, о романе Ж.-Ф.Мармонталя «Велизарий».

смаатривая эту переписку как дело государственной важности, царица набрасывала очередное письмо сама, потом передавала его для правки кому-либо из доверенных лиц, и только затем посылала по назначению.

Труды эти увенчались успехом. В течение долгого времени, философы-просветители, в особенности Вольтер, связывавший свои политические надежды с воспитанием «философа на троне», с симпатией относились к деятельности «северной Семирамиды» (или «прекрасной Като», как Вольтер позволял себе фамильярно ее называть в личной переписке с некоторыми своими приятелями), посвятили ей немало прочувствованных строк.

К примеру, в прелестной философской сказке «Царевна вавилонская» снискавшей себе громкую славу в Европе, повивавшая все на своем веку птица Феникс, прибыв в «империю киммерийцев», поразился ее цветущему состоянию.

«Каким образом в столь короткий срок, – удивлялся он, – достигнуты такие благотельные перемены? Не минуло еще и трехсот лет с тех пор, как во всей своей свирепости здесь господствовала дикая природа, а ныне царят искусства, великолепие, слава и утонченность.

– Мужчина положил начало этому великому делу, – ответил киммериец, – женщина продолжила его. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем Изида египтян и Церера греков»¹⁹⁸.

Тут проницательные читатели, среди которых была и Екатерина II, начинали догадываться, что под «империей киммерийцев» надобно было понимать государство Российское, а под ее мудрой законодательницей сами понимаете кого.

Между тем, киммерийский вельможа продолжал просвещать птицу Феникс насчет успехов цивилизации в наших краях, похвалы становились гиперболическими, а императрица, должно быть, нехотя отводила глаза от страницы затем, чтобы утереть навернувшиеся на них слезы благодарности... Приняв во внимание, что повесть Вольтера была написана в 1768 году – и, следовательно, до кровавого кошмара пугачевщины оставались считанные годы, мы можем оценить всю проницательность и уместность вольтеровских комплиментов.

Как бы то ни было, в задачу императрицы несомненно входило укоренение Просвещения на берегах Невы – тем более, что благоприятный отзыв о Петербурге, в особенности же о царящей в нем атмосфере веротерпимости, нашел уже себе место в двенадцатом томе Энциклопедии (а именно, в статье, специально посвященной нашему городу, которую подготовил некий шевалье де Жокур)¹⁹⁹. Поэтому она посылала настойчивые приглашения своим корреспондентам прибыть в Петербург, а лучше всего – навсегда у нас обосноваться. Осторожный Вольтер, уже испытавший на собственном опыте всю силу гостеприимства Фридриха Великого, от нового приглашения уклонился.

Зато Д.Дидро, занимавший в «табели о рангах» тогдашних французских философов едва ли не высшее место, нашел возможным откликнуться и посетил Петербург в 1773-1774 годах. Собственный дом Л.А.Нарышкина, в котором он поселился, дошел до нашего времени без больших переделок. Мы говорим об изящном особняке, украшенном лепными барельефами, очаровательными в своей наивности, который был построен в 1760-х годах, предположительно по проекту А.Ринальди. По нынешней нумерации, это – дом 9 на Исаакиевской площади (теперь там помещается Прокуратура Санкт-Петербурга).²⁰⁰

¹⁹⁸ Пер. с франц. Н.Коган.

¹⁹⁹ Подробнее о распространении идей Просвещения в России см.: Карп С.Я. Французские просветители и Россия. Исследования и новые материалы по истории русско-французских культурных связей второй половины XVIII века. М., 1998.

²⁰⁰ Приехав в столицу России поздней осенью 1773 года, Дидро поначалу предполагал остановиться у Этьена-Мориса Фальконе, бывшего его близким другом еще с парижских времен. Однако тот был очень занят в связи с осложнениями, возникшими в процессе отливки «Медного всадника». Помимо того, к нему приехал сын. В итоге пришлось Дидро остановиться в палатце, получившем впоследствии известность под именем «Дома Мятлевых».

Это место – одно из важнейших на карте так много обещавшего и, в общем, сыгравшего свою роль в политической и культурной истории России «петербургского Просвещения». Хорошо, что этот дом был недавно отмечен памятной доской на французском и русском языках, напоминающей о почти полугодовом пребывании в Петербурге одного из интеллектуальных лидеров второго поколения французских философов-просветителей²⁰¹.

Ни одного из крупных французских философов в конечном счете вполне приручить не удалось. Это не помешало устройству у нас своеобразных «святилищ Просвещения». Важнейшее из них было расположено в Императорском книгохранилище, в Эрмитаже. В особом зале была помещена библиотека Вольтера, купленная царицей у наследников философа в 1779 году, вскоре после его смерти. Рукописи многочисленных работ мыслителя также входили в состав библиотеки. В центре стоял бронзовый бюст Вольтера, осенявший своим скептическим взором сей обустроенный в царских покоях храм Разума.

Особая комната неподалеку была отведена книжному собранию и другого философа – уже упомянутого нами Дени Дидро. Это собрание было куплено у мыслителя уже при его жизни, в 1765 году. Несмотря на такой факт, библиотека оставалась в пользовании Дидро на протяжении без малого двадцати лет после ее покупки, причем он получал из России еще и жалование за исполнение обязанностей библиотекаря в собственном доме. Этот щедрый жест получил большую известность в Европе и, разумеется, много способствовал престижу императрицы.

Насаждение французского языка и новейшей культуры всемерно поощрялось у нас, таким образом, высшей властью, и потому рассматривалось как максимально приоритетное. Оно, разумеется, не ограничивалось областью книжного просвещения. К числу выдающихся педагогических проектов той эпохи относятся открытие Артиллерийского и Инженерного шляхетского кадетского корпуса, заложение Смольного института благородных девиц. Как нам уже довелось отмечать, они оказали значительное воздействие на формирование психологических типов просвещенного дворянина и, соответственно, дворянки «петербургского периода».

Душой этих образовательных проектов был один из приближенных Екатерины II – знаменитый Иван Иванович Бецкой. Любопытно, что педагогические сочинения этого выдающегося деятеля отечественного просвещения вызвали настолько сильный интерес у Д.Дидро, что он много способствовал их изданию на французском языке, в Париже.

Заметим, что сам Дидро склонен был смотреть на себя как, в частности, специалиста по постановке системы образования и воспитания на основе новых, а именно философских (то есть просветительских) принципов. Не случайно во время пребывания в Петербурге, значительную часть своего времени он посвятил редактированию «планов и уставов» образовательных учреждений нового типа, задуманных императрицей и Бецким. Помимо того, он наметил основные черты проекта организации системы народного образования для Российской империи в целом.

Французское просвещение – как со строчной, так и с прописной буквы – распространялось у нас, таким образом, сверху, как в директивном порядке, так и попушением властей. Довольно скоро оно получило самую активную поддержку снизу, прежде всего со стороны дворянского общества, и именно в связи с этим приобрело черты необратимости.

Просвещенные люди быстро усвоили себе привычку знакомиться со всем спектром новейшей периодической и книжной продукции именно на французском языке. Поэтому, когда в связи с нарастанием французской революции, российские власти распорядились изъять из библиотек и книжных лавок труды французских просветителей и запретить их провоз через

²⁰¹ Напомним, что в соответствии с утвердившимся в отечественном литературоведении и историографии подходом, к первому поколению французских просветителей принято относить ряд деятелей во главе с Монтескье и Вольтером, ко второму – Дидро и сотрудников его Энциклопедии. Что же касалось Руссо, то, принадлежа к кругу просветителей, он занимал совершенно особое положение.

границу, образованные дворяне научились легко обходить эти запреты, обращаясь к личным библиотекам родственников и друзей.

Не менее трудным для властей было осуществлять детальный контроль за качеством и содержанием обучения в частных французских пансионах, которых у нас было заведено изрядное количество, в особенности в обеих столицах. Что же касалось до петиметров и щеголих, чутко следивших за малейшими изменениями парижских мод, то прервать их душевную связь с «отечеством всего изящного» оказалось решительно невозможным. Как хорошо заметил герой одного из тогдашних авторов, «Тело мое родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской».

Положим, Фонвизин в цитированной реплике из комедии «Бригадир» ставил себе задачей несколькими словами дать ярко сатирическую характеристику «нового человека» – скорее, «грядущего хама», прибегая к формуле, найденной через полтора столетия Мережковским. Однакоже просвещенный дворянин получал первоначальное воспитание и общее образование по-французски, писал дневники и личные письма также по-французски, на этом же языке обсуждал домашние дела с женой, беседовал с друзьями, говорил в свете, равно как читал Писание, а нередко и обращался к Богу.

Французский язык безусловно преобладал в стереотипных ситуациях, для которых в нем было выработано немало устойчивых выражений, «клише». Между тем, поведение, пристойное для дворянина и светского человека сводилось в те годы к умению безошибочно взять тон, подобающий ситуации и притом соблюсти все требования этикета. Вот почему французский язык постепенно стал вторым родным, а нередко и первым языком просвещенного дворянина «петербургского периода» в эпохи Екатерины II, Павла и Александра I.

Свидетельств этому положению более чем достаточно. Мы ограничимся здесь цитированием слов бытописателя екатерининского Петербурга, не понаслышке знакомого с жизнью в столице: «Излишне будет упомянуть, что в российских домах говорят хорошо по-русски, хотя москвитяне Санкт-петербургских жителей гораздо в чистоте и правильности превышают. Также и по-немецки говорят по употреблению, словорасположению и произношению весьма правильно и хорошо, однакоже случаются в простых разговорах некоторые русицизмы. Во многих, преимущественно же в знатных домах, в большей части смешанных обществ, в учреждениях для воспитания и пр. говорят много по-французски; почему даже и достаточные ремесленники стараются, чтобы дети их сему языку обучены были; отчего многие французы и французженки, и между оными некоторые бродяги и несведущие, хорошее пропитание получают. Во многих домах научаются малые дети всем трем языкам без труда, одним обхождением с родителями и домашними. В многолюдных обществах говорят обыкновенно на всех трех языках»²⁰².

²⁰² Георги И. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом / Пер. с нем. СПб, 1996, с.451 (перепечатка издания 1794 года; курсив наш).

Французский акцент в «петербургском тексте»: Ломоносов

«Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет».

Так, широко и свободно, с дыханием, не стесненным ни заботой о собственных выгодах, ни страхом перед носителями высшей власти, пел Ломоносов чаемое наступление новой эпохи в своей Коронационной оде 1747 года – ну, а российский читатель поистине наслаждался как стихотворной техникой, так и масштабностью замысла поэта.

Переводя свой мысленный взор в прошлое, русский поэт немногочисленными смелыми мазками намечал портрет Человека – скорее же, полубога – дочь которого была взойшедшая только что на престол Елизавета Петровна и описывал удивление олимпийских богов, а также и духов природы, перед величием его дела:

«В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с того пути склонилась,
Которым прежде я текла?»»

Как выяснялось чуть ниже, Нева вовсе не сбилась с пути. Однако же при впадении ее вод в Финский залив вырос новый град, сразу привлечший внимание «божественных наук». Петр Великий призвал их переселиться на берега Невы, и те были отнюдь не против – но злобный рок отнял жизнь у великодушного монарха. Дело его²⁰³ взялась было продолжить Екатерина I – но и ее жизнь досрочно пресеклась.

«Но кроткая Екатерина,
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах, если б жизнь ея продлилась,
Давно б Секвана постыдилась
С своим искусством пред Невой!».

Упомянутая Секвана (Sequana) есть, несомненно, латинизованное название реки Сены (Seine), на берегах которой стоит Париж. Что же касалось символического соперничества гениев Невы и Секваны, то в такой, привычной для поэтического искусства своего времени Михайло Васильевич выразил надежду на то, что когда-нибудь Петербургу удастся встать на равных с Парижем, а то и превзойти его по части развития наук и искусств.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что идею соперничества с Францией, принадлежавшей к числу лидеров цивилизованного мира той эпохи, Ломоносов решил выразить в торжественной, широко развернутой оде. Дело в том, что ода рассматривалась теоретиками классицизма как едва ли не самый возвышенный жанр литературного творчества, деля эту честь разве что с трагедией.

²⁰³ Речь, несомненно, идет об Академии наук, основанной по указу Петра, но открытой уже при Екатерине.

Одним из основоположников оды был писавший примерно за сто лет до Ломоносова французский поэт Франсуа де Малерб, давший в своем творчестве поистине классические образцы ее разработки. К числу излюбленных тем Малерба было воспевание абсолютизма, в котором он видел залог поступательного развития державы. По сравнению с этой высшей ценностью, все остальное отступало в тень. Даже религия была для Малерба прежде всего официальным вероисповеданием, которое было полезно для сплочения нации.

Весьма сходный пафос одушевлял и Ломоносова, бывшего истым державником. В истории русской литературы тот жанр, в котором он отличился, получил образное, но, в сущности, вполне оправданное наименование «государственной оды»²⁰⁴. Вступив в соревнование с французским классиком на его, так сказать, территории и выйдя из такового с честью, русский поэт мог надеяться на то, что пойдя по намеченному им пути, отечественная литература сможет вскоре сравниться с французской – а может быть, когда-нибудь и затмить ее.

²⁰⁴ Подробнее см.: Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Сборник 14. Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983, с.39 (статья была написана в конце 1930-х годов).

Сумароков

Преемственность между обоими поэтами, французским и российским, не составляла секрета для современников Ломоносова и даже подчеркивалась ими. К примеру, в «Эпистоле о стихотворстве», написанной петербургским поэтом Александром Сумароковым в тот же год, что и цитированная выше ломоносовская ода, поэтам был адресован следующий совет:

«Оставь идиллию, элегию, сатиру
И драмы для других: возьми гремещу лиру
И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб²⁰⁵, он Пиндару подобен...»

В примечаниях, предназначенных для отечественного читателя, неискушенного пока в литературных тонкостях, Сумароков специально оговорил, что Мальгерб – это «французский стихотворец, славный лирик. Родился около 1555 году. Умер в Париже в 1628 году».

Последнее примечание отдает если не педантизмом, то школьным духом, и это не случайно. Дело в том, что в своей Эпистоле Сумароков ориентировался на образец этого жанра – выпущенное в свет в 1674 году сочинение Никола Буало «Поэтическое искусство», в четырех песнях которого, в зарифмованной, рассчитанной на заучивание форме были изложены все каноны французского классицизма. Перенесению их на русскую почву и посвятил свою лиру Сумароков.

Как следствие, Эпистола его изобилует именами французских поэтов. Что же касается Буало, то фигура его прямо-таки воспаряет в эмпирей:

«О таинственный муз! Уставов их податель!
Разборщик стихотворств и тщательный писатель,
Который Франции муз жертвенник открыл
И в чистом слоге сам примером ей служил!
Скажи мне, Боало²⁰⁶...»

В примечании к этим строкам, Сумароков дает сжатый перечень наиболее важных трудов французского поэта – и среди них, разумеется, «Поэтического искусства». «Слава его, к чести французского стихотворства, во всей Европе распростерта», – писал петербургский почитатель Буало и продолжатель его дела, и был вполне прав. Трудом Сумарокова и его современников, классицизм утвердился в отечественной словесности.

Представляется весьма важным, что утверждение этой жанрово-стилевой системы, магистральной для русской литературы, с самого начала было связано с петербургской темой. Начав «Эпистолу о стихотворстве» от Парнаса, Александр Сумароков вскоре обратил свой взор на Север, а после того – и к образу основателя Петербурга, определив его как один из наиболее выигрышных для русской оды:

«Великий Петр свой гром с берегов Балтийских мечет,
Российский меч во всех концах вселенной блещет.
Творец таких стихов вскидает всюду взгляд,
Взлетает к небесам, свергается во ад

²⁰⁵ Принимая такое написание имени Малерба, Сумароков следовал отечественной традиции, рекомендовавшей в нередких для французского языка случаях расхождения произношения и написания, следовать за последним. По-французски имя поэта писалось как “de Malherbe”. Принцип этот был, кстати, удобнее для поиска по библиотечным каталогам, нежели теперешний, безоговорочно ориентированный на живое произношение. Попробуй сообрази, в особенности в спешке, что книги Гюго нужно искать в каталоге французских книг под литерой “H”, а Готье – “G” (поскольку фамилии этих писателей пишутся соответственно как “Hugo” и “Gautier”).

²⁰⁶ И в этом случае, Сумароков следовал французской орфографии (“Boileau Despréaux”).

И, мчась в быстроте во все края вселенны,
Врата и путь везде имеет сотворенны».

Стоит заметить мимоходом, что в последних строках приведенной цитаты, поэт рассматривается не как литератор, постоянный посетитель кабинетов издателей и книгопродавцев – но как пророк, свободно охватывающий своим творческим воображением все уровни мира.

Такое мировоззрение отмечено печатью глубокой архаики – однако поэт времен классицизма, берясь за перо, чувствовал себя именно что титаном и сотрапезником олимпийских богов. Отсюда берет начало та метафизическая струя, что неизменно питала в последующие эпохи творческую интуицию петербургских поэтов.

Тредиаковский

Возвращаясь к творчеству М.В.Ломоносова, нужно заметить, что его обращения к французской традиции следовали не сердечной склонности, но, так сказать, идеологическим соображениям. Психологически Ломоносов был целиком на стороне немецких писателей, и даже звук французских стихов был ему неприятен.

«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам в том, что до стоп надлежит, примером быть не могут, понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя», – подчеркивал он в «Письме о правилах российского стихотворства», посланном в 1739 году в Академию наук из командировки в немецкие земли.

Под «стопами», упомянутыми в приведенных словах, следует понимать опорные единицы нового, так называемого силлабо-тонического стихосложения, скорейшее укоренение которого в русской поэзии Михайло Васильевич поставил себе целью. Реформа, предложенная молодым ученым, казалась ему совершенно естественной. Как мы только что видели, об убедительности аргументации он не особенно заботился и нередко полагался на слух, как в случае с восприятием французских стихов.

Дело в том, что французские поэты испокон веков придерживались иного, силлабического стихосложения, в соответствии с принципами которого каждый стих должен был содержать определенное количество слогов. Что же касалось до ударений, то их расстановка значения не имела. Современному русскому читателю эта система представляется совершенно чуждой – прежде всего по той простой причине, что, начав писать силлабо-тонические стихи во времена Ломоносова, большинство русских поэтов так ими и пишут по сей день.

Между тем, в русской ученой поэзии того времени, силлабический принцип был принят, и даже безусловно преобладал. Слух образованного русского читателя воспитан был на силлабике, и в силу этого факта французская поэзия должна была ему быть приятной по звучанию. Утверждая обратное, Ломоносов показывал, что ему дела нет до предыдущей истории русской поэзии, что он ее ни во что не ставит, а ориентируется на немецкую поэтическую традицию, в которой силлабо-тонический принцип стал к тому времени общепринятым.

В Петербурге в то время жил и трудился другой поэт, по имени Василий Кириллович Тредиаковский. За несколько лет до Письма Ломоносова – а именно, в 1735 году – он опубликовал собственный проект реформы русской поэзии, под заглавием «Новый краткий способ к стихосложению российских стихов с определением до сего надлежащих знаний». Проект Тредиаковского также состоял в переходе к силлабо-тонической системе, тут разногласий с Ломоносовым у него не возникало.

Однако, в отличие от Ломоносова, Тредиаковский знал предыдущую, силлабическую традицию отечественного стихосложения и ценил ее. Поэтому, намечая свою реформу, он вывел на первый план те размеры, которые могли читаться почти с равной легкостью как в силлабической, так и в силлабо-тонической традиции. Таким образом, переход от старой системы стихосложения к новой становился у него постепенным, не требующим от уха и сердца читателя немедленной, кардинальной перестройки.

«Ломоносов, в отличие от Тредиаковского, подошел к преобразованию русского стиха не как реформатор, а как революционер», – подчеркнул видный отечественный филолог М.Л.Гаспаров²⁰⁷. Отнюдь не оспаривая этого тезиса, оправданного также и с точки зрения психологии творчества, добавим, что тут германофил схлестнулся с галломаном. Действительно, как

²⁰⁷ Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989, с.212.

командировка в немецкие земли сыграла решающую роль в формировании личности талантливого помора, так поездка во Францию сделала молодого астраханца поэтом и теоретиком литературы²⁰⁸.

Решительно отказавшись от карьеры священника, двадцатилетний Тредиаковский покинул Россию и стал путешествовать по Европе, хотя денег у него совсем не было. Прожив некоторое время в Голландии, он переехал в Париж и задержался там на несколько лет.

Вполне овладев в самые сжатые сроки как устной, так и письменной французской речью, Тредиаковский с восторгом погрузился в изучение французской литературы, равно как общение с образованными французами. Ему даже удалось получить доступ в Сорбонну и некоторое время слушать там лекции. Написанные на берегах Сены в 1728 году «Стихи похвальные Парижу» свидетельствуют о том, что поэт на Париж разве что не молился:

«Красное место! Драгой берег Сенски!
Тебя не лучше поля Элисейски:
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летня зноя...

Красное место! Драгой берег Сенски!
Кто тя не любит? Разве был дух зверски!
А я не могу никогда забыть,
Пока имею здесь на земле бытьи».

Тредиаковский вернулся в Санкт-Петербург в 1730 году законченным галломаном и поспешил представиться в этом качестве читающей публике. В самом начале следующего, 1731 года он выпустил книгу, которой суждено было снискать в русской литературе громкую славу. Заглавие ее звучало: «Езда в остров любви. Переведена с французского на российской Василием Тредиаковским».

Действительно, первую часть книги составил перевод аллегорического романа французского писателя Поля Тальмана. Во второй части был помещен ряд оригинальных стихотворений молодого поэта, написанных как на русском, так и на французском языках. Два из них, включая «Оду о непостоянстве мира», фактически ставшую первой русской одой в строгом значении этого слова, были опубликованы как в русском, так и французском варианте.

Оригинальность не была в данном случае самоцелью для Тредиаковского. Историки российской словесности подчеркивают, что французские стихотворения второй части изобилуют штампами и прямыми заимствованиями из тогдашней французской литературы. Именно по этой причине писать – или, точнее сказать, составлять – стихи на французском языке было для Тредиаковского делом относительно простым²⁰⁹.

Соположение русских стихотворений с французскими, требовавшее немалой изобретательности и прозорливости, представляло, напротив, задачу первостепенной трудности. Ведь Тредиаковскому пришлось находить выразительные средства для новой литературной традиции, которой еще не существовало. Вот почему подзаголовок «Переведена с французского на российской Василием Тредиаковским» был для автора программным, а русский читатель это сразу заметил и оценил.

В позднейшем творчестве поэта наше внимание привлекает написанная на предстоявшее пятидесятилетие «северной столицы» ода, озаглавленная так: «Похвала Ижерской земле и

²⁰⁸ Напомним, что Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангельской губернии, а Тредиаковский – в городе Астрахани.

²⁰⁹ См.: Заборов П.Р. Русско-французские поэты XVIII века // Многоязычие и литературное творчество. Л., 1981, с.68.

царствующему граду Санктпетербургу». Содержание ее незамысловато; юбилейный жанр всегда налагает ограничения на полет фантазии одописца. Тем более любопытно, что автор нашел уместным и возможным посвятить четыре из тринадцати строф Оды иностранцам.

«Авзонских стран Венеция, и Рим,
И Амстердам батавский, и столица
Британских мест, тот долгий Лондон к сим,
Париж градам как верьх, или царица,-

Все сии цель есть шествий наших в них,
Желаний вещь, честное наше странство,
Разлука нам от кровнейших своих;
Влечет туда нас слава и убранство...

Но вам узреть, потомки, в граде сем,
Из всех тех стран слетающихся густо,
Смотрящих всё, дивящихся о всем,
Гласящих: «Се рай стал, где было пусто!»

Надо думать, что в первых двух из процитированных нами строф юбилейной Оды, Тредиаковский напоминал об «образовательных путешествиях» в Европу, давно заменивших для большинства образованных русских паломничество к святым местам. Что же касалось последней строфы, то тут поэт, верный своим патриотическим принципам, выражал уверенность в том, что в скором времени и сам Петербург представит собой место паломничества образованных иностранцев, прежде всего – французов.

В торжественном завершении Оды, читаем подлинную хвалу граду Петрову:

«О! Боже, твой предел да сотворит,
Да о Петре России всей в отраду,
Светило дня впредь равного не зрит,
Из всех градов, везде Петрову граду».

Для читателя наших дней, эти слова перекликаются со знаменитым «заклинанием Петербурга», которое Пушкин поставил в заключительной части Вступления к своему «Медному всаднику» («Красуйся, град Петров...»). Такое впечатление будет вполне оправданным. Действительно, к тем многочисленным темам, образец разработки которых надолго дал Тредиаковский, относилось торжественное утверждение непреходящей ценности «дела Петра» – Санкт-Петербурга, а вместе с ним новой России.

Как видим, одна из центральных для «петербургского текста» тем, намеченная в творчестве одного нашего «литературного галломана» нашла себе продолжение и развитие в трудах другого поэта, в свою очередь испытавшего более чем значительное воздействие французской словестности.

Тут нужно оговориться, что в современной семиотической теории «петербургский текст» рассматривается как ограниченный жесткими временными рамками, примерно от пушкинского «Медного всадника» – до «петербургских романов» К.Вагинова²¹⁰. Сказанное нами выше

²¹⁰ См.: Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы \ Семиотика города и городской культуры: Петербург / Труды по знаковым системам. XVIII. Тарту, 1984, с.14-15.

позволяет распространить его и на более раннее время – прежде всего, на труды Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова.

Отступление о Феофане Прокоповиче

Впрочем, если уж на то пошло, то введением в «петербургский текст» следовало бы по праву считать многочисленные орации главного идеолога петровского времени, знаменитого Феофана Прокоповича. Мы не сочли необходимым уделить им особого места в настоящей работе – прежде всего по той причине, что, будучи знатоком и любителем, скажем, новой латинской литературы, Феофан не был особенно близок к французской словесности.

Несмотря на это, в творческом наследии и Феофана Прокоповича вполне можно найти упоминания французских имен и событий. Для примера достаточно будет обратиться к речи, произнесенной архиепископом Феофаном в Троицком кафедральном соборе Санкт-Петербурга 29 июня 1725 года – в день именин Петра Великого, через полгода после его кончины. Отбирая и располагая в строгом порядке факты, особо существенные для утверждения славы Петра, Феофан говорил:

«И некто от политических французских писателей Петра российского не мало выше кладет от своего государя славного оного Великаго Лудовика. И тожде слово согласиём своим утверждает другой, который о неудобности нашего с римлянами соединения пишет. И как не так! Все бо оные и прочии монархи застали во отечестве своем всякая учения и майстерства, воинство доброе и искусных военачалников и градоначалников. Петр же все тое делать и вновь заводить принужден был, купно же теми и действовать и совершить толикия возмогл»²¹¹.

Под «Людвиком Великим» оратор имел в данном случае, несомненно, французского короля Людовика XIV. Петр I, как нам уже доводилось отмечать, питал к этому государю и его министрам самое искреннее уважение.

Что же касается утверждения о том, что Петр строил все на пустом месте, то оно соответствовало тому представлению, которое Петр очень хотел укоренить как в отечественном, так и европейском общественном мнении. Фактами оно, как известно, не подтверждалось. Но в данном случае Феофан снова выступил как преданный соратник Петра и его верный сотрудник в творении мифа, имевшего самое непосредственное отношение и к «духу Петербурга».

²¹¹ Слово на похвалу блаженных и вечнодостойных памяти Петра Великого, императора и самодержца всероссийского, и прочая, и прочая, в день тезоименитства его проповеданное в царствующем Санктпетербурге, в церкви Живоначальных Троицы, святейшего правительствующаго синода вице-президентом, преосвященнейшим Феофаном, архиепископом псковским и наревским // Русская старопечатная литература (XVI – первая четверть XVIII в.). Панегирическая литература петровского времени. М., 1979, с.297.

Державин

«На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем».

Приведенные нами начальные строки державинского «Видения мурзы» изумительны по звучанию. Мы затрудняемся подыскать им какой-либо аналог в сокровищнице отечественной поэзии допушкинского времени. Однако они служат по сути лишь вступлением в эскиз ночного Петербурга, полного тайн и загадок, в котором не спят лишь визионеры и поэты:

«Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт²¹² в берегах своих сверкал;
Природа, в тишину глубоко
И в крепком погруженна сне,
Мертва казалась слуху, оку
На высоте и в глубине»...

И эта картина, как позже оказывается, представляет собою лишь часть развернутой экспозиции к видению богоподобной Фелицы, которая милостиво изволила посетить своего любимца и обещать ему удел в своем бессмертном бытии. Завершая развитие русской литературы XVIII столетия в целом, творческое наследие Державина содержит, как мы только что имели возможность заметить, немаловажные примеры развития также и «петербургской темы».

Как известно, Гаврила Романович учился на медные деньги, тянул солдатскую лямку и времени для изучения как французской грамматики, так и изящной словесности почти не имел. Формально, поэт прошел курс начального обучения французскому языку еще в молодости, в Казани. Однако же гимназические уроки скоро забылись. Свободно говорить по-французски он так никогда и не выучился, хотя в ногу со временем все же старался идти. По этой причине, французские реалии периодически попадают в его стихи – нередко как антитеза российским.

«А мне жаркой еще баран
Младой, к Петрову дню блюденный,
Капусты сочные кочан,
Пирог, груздями начиненный,
И несколько молочных блюд,-

²¹² «Бельт» – в данном случае, Балтийское море. Примечания к авторскому тексту, а также перевод иноязычных фрагментов здесь и далее введены нами, если это не оговорено особо.

Тогда-то устрицы, го-гу,
Всех мушелей заморских грузы,
Лягушки, фрикасе, рагу,
Чем окормляют нас французы,
И уж ничто не вкусно мне»...

Конечно, в какое сравнение могут идти все эти «го-гу»²¹³ и лягушки со старым добрым грибным пирогом и прочим отечественными яствами! Полагаем, что мы правильно поняли мысль поэта. Однако в таких случаях отнюдь немаловажно, какая традиция предоставляет материал для сравнения – и, соответственно, прояснения вкусовых, а с ними и прочих культурных предпочтений²¹⁴. Вот это-то присутствие французской культуры, явное в данном случае, латентное – в иных, и составило весьма содержательный пласт в творчестве Державина (как, впрочем, и многих его современников).

Начнем с того, что уже в одах Екатерине II, при всех комплиментах, которые поэт расточал ей, концепция царской власти была отнюдь не традиционной. Поэт смотрел на царицу не как на помазанницу Божию, но прежде всего как на женщину, в силу своих достоинств призванную давать справедливые законы, следить за их выполнением и давать пример подчинения таковым.

В случаях отступления от этих простых правил – а к концу царствования императрицы, они превратились в систему – поэт огорчился и негодовал, давая волю своим чувствам в стихах. Отсюда происходило взаимное охлаждение, которое поэт каждый раз переживал очень болезненно. Вместе с тем, Екатерина II навсегда осталась для Державина составительницей знаменитого Наказа, в котором нашли выражение самые сокровенные его чаяния.

Между тем, текст Наказа, который был подготовлен для Комиссии 1767-1768 годов, призванной сочинить «новое уложение» – то есть, так сказать, русскую конституцию – был до предела насыщен представлениями об общественном благе, выработанным в кругу французских философов-просветителей (местами же представлял нечто вроде конспекта их сочинений²¹⁵).

Государь, не соблюдающий законов, достоин свержения с престола, а в меру допущенных им преступлений – суда и даже казни. В екатерининском Наказе такого положения не было и, разумеется, быть не могло. Однакоже сам Державин смотрел на дело, по всей видимости, именно так, о чем свидетельствует весь корпус его сочинений, от величественного стихотворения «Властителям и судиям» – до безнадежно бестактной эпиграммы «На смерть собаки Милушки»²¹⁶.

Как мы помним, в первом из упомянутых сочинений, поэт предъявил царям требование, которое прозвучало в русских условиях тех лет исключительно дерзко: «Ваш долг есть: сохранять законы». В заключительной части стихотворения, он напоминал коронованным особам о Божием суде и грозил неминуемой смертью. Екатерина II сочла его, как известно, вполне якобинским – и была, по сути, совершенно права. Поэт же отговорился тем, что стихотворение представляло собою переложение библейского псалма.

Что же касалось второго, то там Державин не нашел ничего более остроумного, чем сравнить падение с трона и казнь французского короля Людовика XVI – с падением с колен своей

²¹³ От французского “haut goût” («изысканная еда», дословно «высокий вкус»); по этой модели построено и теперешнее “haute couture” («высокая мода»).

²¹⁴ Картина в «Похвале сельской жизни», откуда мы позаимствовали последний из процитированных отрывков, осложнена еще переключкой с античными образцами (прежде всего, одной из известнейших эпиграмм (III, 47) Марка Валерия Марциала).

²¹⁵ Мы говорим, разумеется, о трактате Монтескье, выпущенном в 1748 году под заглавием «О духе законов» (“L’esprit des lois”).

²¹⁶ Полное заглавие эпиграммы звучало так: «На смерть собаки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки и убила до смерти». Написана она была по горячим следам событий, а именно, в начале 1793 года (короля казнили 21-го января этого года).

хозяйки и смерти собачонки по имени Милушка. «О смертный! Не все ль судьб игрушка – / Собачки и цари?»,— писал поэт, вовсе, кажется, не предвидя, в какую пучину бедствий будет втянуто и его отечество в скором времени, и в самой непосредственной связи со свержением короля Франции.

Новое содержание требовало и новых форм выражения. Как уже заметили литературоведы, «поэзия Державина, за отдельными исключениями, по существу своему представляет почти полное разрушение ломоносовско-сумароковской литературной системы. Мы уже видели это в отношении жанров. «Высокое» содержание торжественной оды излагается Державиным жанром анакреонтической песни («Стихи на рождение в севере порфирородного отрока»); хвалебная ода сочетается с сатирой («Фелица») или вовсе превращается в сатиру («Вельможа»); включает в себя элементы басни и т.д.»²¹⁷.

Следуя своей творческой интуиции, Державин вместе с тем шел в этом отношении в ногу со временем. Столкнувшись с аналогичными трудностями, французские просветители, как известно, принялись за расшатывание канонов почтенного классицизма, не обинуясь вводить в литературу и новые, синтетические жанры по собственной прихоти. Так появился жанр «философских повестей» Вольтера, вовсе не предусмотренный теоретиками классицизма. Другой пример может представить «серьезная комедия», введенная в иерархию драматических жанров трудами Дени Дидро.

Итак, свежие ходы мысли требовали для своего воплощения новых средств выражения. В свою очередь, жанрово-стилистические инновации подчеркивали новизну плана содержания. Укореняясь в сознании читателя, плоды поэтического вдохновения Державина способствовали выработке нового психологического типа человека «петербургского периода», определяющее значение для которого играли идеи французского Просвещения.

В 1810 году совсем уже старый Державин нашел уместным откликнуться на прибытие в Петербург сестры Александра I, Екатерины Павловны, с мужем, принцем Георгием Ольденбургским, и взялся за лиру. Супружеская чета следовала водой, по Волхову в Ладожское море, и далее по Неве.

Написанное поэтом по этому поводу стихотворение «Шествие по Волхову российской Амфитриты» производит неотразимое впечатление в первую очередь потому, что ни выбором слов, ни поэтической техникой, ни разработкой темы существенно не отличается от «Фелицы» или того же «Видения мурзы». А ведь то было написано за добрых четверть века прежде того – и сколько с тех пор воды утекло, по руслу не только Невы, но и российской словесности.

«Петрополь встает на встречу;
Башни всходят из-под волн.
Не Славенска внемлю вечу,
Слышу муз афинских звон.
Вижу, мраморы, граниты
Богу вносятся на храм;
За заслуги знамениты
В память вождям и царицам
Зрю кумиры изваянны.

Вижу, Севера столица
Как цветник меж рек цветет,-
В свете всех градов царица,

²¹⁷ Благой Д.Д. Державин // История русской литературы. Том IV. Литература XVIII века. Часть вторая. М.-Л., 1947, с.415-416.

И ее прекрасней нет!
Бельт в безмолвии зеркало
Держит пред ее лицом,
Чтобы прелестями блистало
И вдали народам всем,
Как румяный отблеск зарьный»

Поэт называет свой город греческим именем *Петрополь*, как и встарь. Облик столицы для него по-прежнему определяется высокими колокольнями, которые он называет *башнями*, и *утишиенной* водной гладью, в которую смотрятся набережные Петербурга. Она получает поэтическое наименование *Бельт*.

Мы только что выделили курсивом совпадения с цитированным нами выше отрывком из державинского «Видения мурзы». При желании, список таковых легко можно было бы продолжить. Как видим, перед нами случай очевидной автоцитации. Помимо всего прочего, поэт хочет силится показать нам, что его видение Петербурга существенно не изменилось, несмотря на прошедшие годы.

Может быть, стоило бы говорить и о некоем видении «души города», моментальном проникновении в его тайну, со всеми принадлежащими ему башнями и зеркалами вод, которое посетило душу поэта в период создания лучших произведений из числа обращенных к Фелице. В конце концов, не случайно же именно это слово было выведено в заголовок привлекшего наше внимание «Видения мурзы».

Впрочем, полет нашей фантазии стоит на этом остановить. Державин был прост и решителен как в службе, так и в молитве. В экстаз он приходил, особенно в почтенных годах, преимущественно от монарших милостей – как, впрочем, и прелестей молодых резвушек, а к мистицизму разного рода относился настороженно. В свое время, обращаясь к Екатерине II в оде «Фелица», он особо выделил:

«Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь собой;
Коня парнаска не седлаешь,
К духам в собранье не въезжаешь,
Не ходишь с трона на Восток...».

В другом своем знаменитом произведении – оде «На счастье», написанной на масленицу 1789 года, наполненной до краев описанием разнообразных дурачеств, которым от Адама до наших дней предается людской род, поэт с неудовольствием писал:

«В те дни, как всюду ерихонцы
Не сеют, но лишь жнут червонцы,
Их денег куры не клюют;
Как вкус и нравы распестрились,
Весь мир стал полосатый шут;
Мартышки в воздухе явились...».

Строки, заключающие первую из приведенных нами цитат, указывают на увлечение масонством, логи которого по традиции именовались Востоками. Что же касается второй цитаты, то под упомянутыми в ней мартышками следует понимать не пугливых обитателей тропических джунглей, но мистиков-духовидцев, получивших в России известность под именем мартинистов.

Императрица, действительно, была нерасположена к мистицизму любого сорта и неустанно боролась с ним – сначала пером, а после и административными утеснениями (обидное имя «мартышек» Державин, по всей видимости, и позаимствовал из одного из принадлежавших ее перу антимасонских произведений). Что же касалось дворянского общества, то оно увлекалось мистическими учениями, не исключая и тех, что пришли к нам из Франции, наподобие только что упомянутого мартинизма, едва ли не повально.

Сложившийся в результате масонский текст отечественной культуры «петербургского периода» представляет собой явление, без учета которого наш очерк его духовной жизни остался бы неполным. Как видим, даже для глаза поэта, решительно нерасположенного к мистицизму, сей текст представлял собой деталь общекультурного фона, которая была необходима для полноты картины – хотя лично ему симпатии не внушала. Что же тут говорить о его современниках, одаренных более живым воображением и мистическим чувством! К краткой характеристике этого колоритного феномена екатерининской эпохи мы сейчас и перейдем.

«Екосские градусы»

«Что же значит такое масон по-французски?
Не иное что другое, вольный каменщик по-русски.
Каменщиком зваться Вам, масоны, прилично.
Вы беззакония храм мазали отлично»²¹⁸.

Размер приведенных непритязательных виршей сбивается на силлабику – к тому же, как видно по второй строке, не вполне упорядоченную. Писать такие стихи после трудов Тредиаковского и Ломоносова было уже почти неприлично.

Что же касается содержания, то в начале екатерининского царствования, когда стихи были, по всей вероятности, писаны, то оно решительно расходилось с основным направлением общественных интересов. Масонство у нас тогда только еще разворачивалось и начинало вовлекать в свою деятельность множество мыслящих и чувствующих дворян.

Следуя достаточно распространенной и в целом вполне корректной классификации, история распространения масонства на пространствах Российской империи прошла в XVIII веке два главных этапа – рационалистический и мистический, ограниченные во времени соответственно 50-70-ыми и 70-80-ми годами. Сами масоны с таким разделением, по всей видимости, согласились бы, сделав лишь ту оговорку, что применительно к их работам правильнее было бы различать не рационализм и мистику, но преимущественный интерес к «иоанновским степеням» – либо к «андреевским степеням» и учению розенкрейцеров.

Напомним, что «иоанновские степени» в историческом плане предшествовали всем остальным, представляя собой нечто вроде фундамента масонского храма – так, как он был заложен первыми английскими мастерами в самом начале XVIII столетия. Простая, но импозантная обрядность, символика, апеллировавшая к архетипическим слоям психики посвящаемого, постоянный упор на самосовершенствование и благотворительность пронизывали насквозь атмосферу иоанновских лож, в убранстве которых доминировали золотой и лазоревый цвета.

Несколько позже – а именно, к середине века – масонство обогатилось «андреевскими степенями». Здесь настроение было уже совершенно другим. Адепт получал посвящение в ряды рыцарского ордена, хранившего свои тайны и таинства со времен рыцарей-крестоносцев. Как следствие, в числе символических изображений были не только ключ и корона (означавшие, соответственно, владение секретами натуры и высшего просветления), но и секира с мечом (напоминавшие о долге неустанной борьбы против внутренних и внешних врагов).

В убранстве ложи, равно как и церемониальных одеяниях братьев доминировали оттенки красного цвета, в процессе же направленных медитаций немалое место занимало разжигание в себе чувства праведной мести к тиранам, пославшим в свое время на костер магистра ордена тамплиеров и вынудившим уцелевших рыцарей уйти на долгие столетия в подполье.

Считая, что традиция тамплиеров была сохранена до нового времени прежде всего в кругу шотландских рыцарей, адепты «андреевских степеней» охотно применяли к своим мистериям наименование шотландских. Безотносительно к тому, какой исторической ценностью обладало это предание, все «шотландские мастера» признавали, что честь образования «андреевских степеней» в их современном виде принадлежала французским масонам.

Перейдя с течением времени в германские земли, эта система получила там дальнейшее развитие и переработку в духе традиций немецкого дворянства. На базе «андреевских сте-

²¹⁸ Выдержка из анонимного обличительного стихотворения против масонов, написанного в России не позднее 1765 года. Цит. по: Пыпин А.Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг, 1916, с.96 (оригинал завершен около 1870 г.).

пений» была образована система так называемого «строгого наблюдения». Она представляла собой уже полную аналогию рыцарского ордена, идущего к своим целям в строгом порядке и при соблюдении полной дисциплины, не исключавшей порядочной муштры. Цели определялись гермейстером, который в свою очередь подчинялся «невидимому капитулу», штаб коего был расположен, по слухам, в одном из замков, в шотландских горах. Впрочем, основатель «строгого наблюдения», барон Карл Готтлиб фон Гунд, посвящение получил все-таки в Париже (или, если уж выражаться на подлинно масонский лад, «на Востоке Парижа»).

Позже всего – а именно, в 60-70-х годах – в первую очередь, трудами немецких мистиков, были разработаны ступени масонского посвящения, основанные на учении розенкрейцеров. Мы говорим, например, о так называемом «теоретическом градусе наук соломоновых». У черного розенкрейцерского алтаря, под символическими изображениями «пламенеющей звезды»²¹⁹, кубического камня и гроба, собирались избранные, готовые душу отдать за власть над «стихийными духами» и секрет «философского камня».

Коротко рассказав о ведущих системах масонства XVIII столетия, мы, разумеется, наметили лишь красную нить, проходившую через «тапии»²²⁰, в величайшем разнообразии плетшиеся членами многочисленных масонских лож той эпохи. Обнаружение или подделка древних, подлинных протоколов, претензии на обладание высшим оккультным знанием, произвольное соединение понятий, принадлежащих к различным градусам – все это и многие другие способы изменения «правил игры» входили в число излюбленных занятий масонов и бесконечно ими применялось. Не составляло в том исключения и отечественное масонство.

«Точка отсчета» для российской масонской традиции представляется вполне очевидной. Это, конечно же, основание в Санкт-Петербурге ложи “Parfaite Union” («Совершенного соглашения»), последовавшее в 1771 году неоспоримо законным путем, по конституции, полученной непосредственно от Великой Английской ложи. В снисхождение к многочисленным просьбам российских масонов, из того же источника в следующем, 1772 году последовал патент на открытие первой русской Великой ложи, работавшей «под молотком» тайного советника, сенатора Ивана Перфильевича Елагина.

Первые правильные основания русского масонства восходили, таким образом, непосредственно к английскому источнику. Параллельно с этой традицией, для краткости называемой у нас просто «елагинской», привилась еще одна, получившая название «рейхелевой» (по имени распространявшего ее в наших краях масонского деятеля по имени Иоганн Готтлоб (Иван Карлович) фон Рейхель. Она восходила к системе «строгого наблюдения», несколько перестроенной и расширенной трудами шведских масонов, и потом возвращенной в немецкие земли.

Обе системы объединялись тремя ступенями первоначального, «иоанновского масонства». Но если Елагин на том останавливался, то сторонники фон Рейхеля дополняли «староанглийскую систему» степенями более высокого посвящения – шотландскими, или, как у нас в старину говорили, «екосскими»²²¹ градусами, которые, как мы помним, были в основных чертах выработаны во Франции. Вот, таким образом, основной канал систематического воздействия французского мистицизма на отечественную масонскую традицию.

Нужно сказать, что очарование «французской системой» отнюдь не было всеобщим. Кому-то не нравилось большое количество степеней, разработке которых французы предава-

²¹⁹ Особый знак, чаще всего изображавшийся в форме шестиконечной звезды с языками пламени, пробивающимися наружу между ее лучами (у французских масонов она носила то же название, а именно “*étoile flamboyante*”).

²²⁰ Выражение из условного языка русских масонов того времени, означавшее ковер с символическими изображениями, расстланный во время работ на полу масонской ложи (от французского “*tapis*” в том же значении). Масонская лексика русского языка, сложившаяся в ту эпоху, состоит в основном из французских лексем, начиная с самого слова «[франк]масон» (от французского “[*franc*]-*maçon*” ([вольный] каменщик).

²²¹ От французского слова “*écossais*” («шотландский»).

лись с особенным рвением. Были и те, кто не видел большого смысла в разжигании «между циркулем и наугольником» намерения отомстить за средневековых тамплиеров.

Все это хорошо отразилось в рукописи одного из наших масонов, участника декабристского восстания Г.С.Батенькова: «Французы, по побуждению своей фантазии, изобрели более 30 степеней, различают их только расширением и сложностью приемного ритуала и названиями, почти каббалистическими, не внося ничего существенного в работы... Французский ритуал высших степеней наполнен напоминаниями о тирании Филиппа Красивого над иллюминатами. Масоны шведской системы признают его характером злопамятства и мести, чего сами никак допустить не могут, предоставляют суд над историей единому Богу и не видят в рядах своих никого, на то уполномоченных. (Всем принадлежит только открытие законов и разумение факта...)»²²².

Были и другие расхождения. Однако же в общем и целом, для большинства лож, работавших в Петербурге, идея дополнить мистерии «иоанновского масонства» материалом «андреевских градусов» представлялась вполне уместной и плодотворной. Как следствие, «тамплиерско-французское» влияние на отечественный мистицизм приобрело достаточно широкие масштабы.

Уже в елизаветинскую эпоху его проповедовал в петербургских салонах барон Генрих фон Чуди, коротко знакомый среди прочих со славным деятелем отечественного просвещения, Иваном Ивановичем Шуваловым (импозантный его дворец стоит по сию пору на Итальянской улице).

Молодой Карамзин, получив посвящение в масонские мистерии, принял тайное имя Рамзей²²³. Между тем, баронет Андре-Мишель Рамзей (собственно, Andrew Michael Ramsey) оказал решающее влияние на выработку во французском масонстве первых «андреевских степеней». Шотландский аристократ по рождению, проживший в Париже полжизни, он был идеальным посредником, через которого древние предания шотландских рыцарей, а может быть, и их тайные ритуалы, стали известны французским дворянам, мечтавшим о возрождении мистерий средневековых крестоносцев.

Наконец, ритуалы «шотландских рыцарей» оказали свое влияние на формирование личности великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. Присоединившись к братству «вольных каменщиков» в поисках душевной крепости, он был проведен опытными наставниками через последовательность степеней «шведской системы», высшие из которых включали ознакомление с тайнами «екосских градусов».

²²² Цит. по: Пыпин А.Н. Цит.соч., с.466-467 (оговоримся, что Батеньков был принят в масоны уже в александровскую эпоху, не позже 1814 года, а писал свои мемуары и подавно в пожилом возрасте: они помечены 1863 годом).

²²³ Оговоримся, что в отечественном литературоведении высказана точка зрения, согласно которой Николай Михайлович был посвящен единственно в низшие, «иоанновские степени» и потому масонского имени в строгом значении этого термина иметь не мог (см.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987, с.580). В таком случае, следует говорить о дружеском прозвище, в котором нашла отражение общая направленность интересов молодого Карамзина (нужно также принять во внимание, что перу Рамзея принадлежал аллегорический масонский роман «Новая киропедия», переведенный у нас и получивший большую известность).

Мартинес Паскалис и Сен-Мартен

Следующим нововведением, выработанным в рамках сообщества французских масонов, был так называемый мартинизм. Эта доктрина была основана трудами двух знаменитых адептов, один из которых носил испанское имя Хоакин Мартинес Паскалис²²⁴, а другой был французским дворянином, по имени Луи-Клод, маркиз де Сен-Мартен.

Мартинес Паскалис был человеком довольно темного происхождения. До настоящего времени остается не вполне известным, из какого источника он почерпнул свои познания каббалистики, удивлявшие современников. Не получив иного образования, дон Мартинес действовал почти исключительно в рамках движения вольных каменщиков, заботливо выбирая членов основанного им нового ордена из их рядов.

По мысли Мартинеса, неотложной духовной задачей человека было возвращение в лоно Бога-Отца, которое он называл воссоединением, реинтеграцией (отсюда происходило и название написанного им «Трактата о реинтеграции существ [в их первоначальное состояние, достоинство и божественное могущество духа]»²²⁵, в котором Мартинес изложил основы своей теологии и антропософии).

Трактат остался незавершенным. Что же касалось учения, то оно было передано ученикам в полном виде. Для его сохранения и распространения, Мартинес установил собственную масонскую систему, получившую известность под названием «Обряда Избранных Когенов» (“Rite des Elus Cohens”), или «Ордена Избранных Рыцарей-Когенов Вселенной» (“l’Ordre des Chevaliers Elus-Cohen de l’Univers”).

В рамках этой системы, состоявшей из девяти ступеней, разделенных на три разряда, адепт получал знание о структуре духовной вселенной так, как она виделась приверженцам герметизма и каббалистики и узнавал о существовании сонмов стихийных духов-элементалов, без помощи которых задачу реинтеграции решить было невозможно²²⁶. Затем ему преподавались основы теургических действий, направленных на обращение с обитателями астрального мира и подчинение их своей воле.

Переходя по ступеням системы Мартинеса Паскалиса – от ученика (“Apprenti”) до «Великого Избранника Зоровавеля» (“Grand Elu de Zorobabel”) и «Рыцаря Розового Креста» (“Chevalier de Réau(x)-Croix²²⁷”) – «человек потока» (“l’homme du torrent”), затерянный в вихре астральных и социальных энергий, восстанавливал свое первоначальное положение (“l’état primordial”), предшествовавшее грехопадению, и припадал к источнику вечной жизни.

Нужно отметить, что, разрабатывая свою систему и вербуя сторонников, Мартинес не забывал о контактах с другими толками масонства, из которых для него наиболее симпатичной всегда оставалась «андреевская система», выработанная, как мы знаем, на французской почве. В результате длительного обмена официальными посланиями, равно как и неофициальных контактов, «Великий Восток Франции» признал в 1765 году систему Мартинеса и принял самого мистагога с его сторонниками в свою структуру под именем «Французской Избранной Шотландской Ложи» (“Loge Française Elue Ecossaise”).

Выработанные им теургические формулы и ритуалы произвели на парижских братьев самое выгодное впечатление и с тех пор стали преподаваться в качестве неотъемлемой части

²²⁴ В устах французов оно быстро превратилось в «дон Мартинес де Паскуальи» (“Don Martinez de Pasqually”).

²²⁵ Traité de la Réintégration des Etres [dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle divine].

²²⁶ Нужно оговориться, что в одних случаях мистагог называл их «невидимыми существами» (“les êtres invisibles”), в других же, по-видимому, из осторожности, «теми, кого церковники именуют ангелами» (“ceux que les Eglises appellent les anges”).

²²⁷ У масонов принято было объяснять этот термин как анаграмму привычного для уха розенкрейцеров словосочетания «Златорозовый крест» (а именно, “R[osae] e[t] au[ri] Crux”).

высших, магических градусов масонства, которые стали довольно активно надстраиваться над рыцарскими, «шотландскими» степенями. В некоторых французских источниках, восходящая к Мартинесу традиция именуется «синим масонством», наложенным поверх «красного» (андреевского) и «голубого» (иоанновского).

Через несколько лет, в то время, как основанная им ветвь французского мистицизма еще делала первые шаги в масонском «большом свете», Мартинесу Паскалису пришлось уехать в Вест-Индию по делам полученного им наследства. В 1774 году он скончался в городе Порт-о-Пренс, на острове Гаити. Но к этому времени на небосводе французского масонства уже разгоралась звезда нового «учителя мудрости», по имени Луи-Клод де Сен-Мартен.

В отличие от Мартинеса, Сен-Мартен был то, что у нас называется «столбовой дворянин». Он принадлежал к старинному местному роду, с детства имел многочисленные родственные и дружеские связи в среде дворянства и аристократии Франции, служил в королевской армии. По характеру Сен-Мартен был мягок и наивен. Тайны «избранных когенов», когда он случайно узнал о них, поразили бесхитростную душу маркиза и завоевали ее навсегда. Он добился посвящения в орден Мартинеса и прошел под его руководством путь тяжелых инициаций и магических операций.

В 1770 году, он подал в отставку – затем только, чтобы занять пост личного секретаря главы ордена. Теперь он вполне отдался учителю и завершил под его руководством курс каббалистического обучения. И все же сердце Сен-Мартена оставалось беспокойным. Прежде всего, его очень смущало то, что, уделяя христианскому эзотеризму большое внимание на низших ступенях преподавания, Мартинес практически устранял его при переходе к высшим степеням. Кроме того, вкус маркиза решительно восставал против еженощного вызывания «духов бездны» и общения с ними, которое сам Мартинес Паскалис считал изюминкой своего учения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.